



Мастера  
израильской прозы

НАОМИ ФРЕНКЕЛЬ

# ДИКИЙ ЦВЕТОК

Элимелех и Соломон

Наоми Френкель

**Дикий цветок**

«Книга-Сэфер»

2007

**Френкель Н.**

Дикий цветок / Н. Френкель — «Книга-Сэфер»,  
2007 — (Элимелех и Соломон)

Роман «Дикий цветок» – вторая часть дилогии израильской писательницы Наоми Френкель, продолжение ее романа «...Ваш дядя и друг Соломон».

## Содержание

О судьбе и творчестве Наоми Френкель	5
Глава первая	9
Глава вторая	13
Глава третья	18
Глава четвертая	24
Глава пятая	50
Глава шестая	59
Конец ознакомительного фрагмента.	61

# Наоми Френкель

## Дикий цветок

### О судьбе и творчестве Наоми Френкель

Когда идет речь о творчестве Наоми Френкель, возникает соблазн увидеть в описываемых историях реальные эпизоды ее жизни. Дело в том, что драматические события романа «Ваш дядя и друг Соломон...», продолжением которого является роман «Дикий цветок», основаны, порой с большей степенью правды, а порой с меньшей, на реальной почве. Из зерен, посаженных в эту почву, и выросли романы, как ростки, одетые писательницей в литературную форму, развитые и расширенные силой ее воображения в цепь событий, которых, в реальности, не было. Но, при этом, повествование разворачивает перед нами панораму исторической и общественной действительности, в которую автор зорко вглядывается, выявляя ее влияние на душу человека и, наоборот, влияние человека на события.

«Это печальные, я бы даже сказала, скорбные книги, – сказала мне Наоми Френкель, – я восстанавливаю то, что мы пережили вместе с народом, душевные ночные беседы, незабываемые по доверительности встречи. В своих романах «Ваш дядя и друг Соломон» и «Дикий цветок» я, по сути, рассказала израильским читателям о себе, о духовном одиночестве, с которым я осталась с глазу на глаз, и о том, что произошло со мной во время службы в Армии обороны Израиля».

Но, прежде всего, оба романа возникли из чувства глубокой тоски по ушедшему из жизни мужу писательницы Израилу Розенцвайгу. Это был истинный мыслитель, бескомпромиссный литературный критик, принадлежавший к школам всемирно известного исследователя еврейского мистического учения Каббалы профессора Гершома Шалома и лауреата Нобелевской премии по литературе 1966 года ивритского писателя-классика Шмуэля Иосефа Агнона. Именно Израиль Розенцвайг является невидимым, но весьма ощутимым соучастником, стоящим за кулисами событий, системой образов и стилем написания романов. Для него, чья любовь к израильской природе неутолима, она с удивительной тонкостью ее рисует. Главным образом, это пейзажи долины Бейт-Шеана, пустыни Негев и Синайской пустыни. Многочисленные описания природы не являются чисто поэтическим приложением. Описания неба, прихода сумерек ночи, животных и птиц страны, утесов и скал, пустынь и зелени оазисов, походов, тайных и открытых – все это трепещет вместе с героями романов. Члены кибуца, старые и молодые, стоящие под ударами событий их поколений, время от времени подводят душевный счет собственной жизни, без того, чтобы обелить ее и выставить чистой, лишенной ошибок.

Вот, несколько сцен, в которых выступает камуфляж, прикрывающий глубинные течения жизни. В одиннадцатой главе как бы сосуществуют два противоречивых мира, влияние которых писательница ощутила в своей судьбе. Скрытая от глаз читателя, разворачивается чистая романтическая любовь в противовес миру лжи и иллюзий. Ада, героиня романа, размышляет: «Она ведь жена, потерпевшая неудачу, и плохая любовница, и больше никто не увидит в ней принцессу. Охватившая ее в эту ночь великая страсть, по сути, обман, она знает, как броситься в авантюру бурных волн и чувств, но в глубинах моря найдешь лишь темноту ее холодной души. Она убегает от любви, ибо убегает от любой острой и четко ощущаемой боли, предпочитая погрузиться в серые сумерки души».

Именно, на пути отрицания возникает в ней ностальгия по испытанным ею в прошлом переживаниям. В настоящем остались лишь неосуществленные мечты и провалы, которые разверзлись и углубились, ибо в глубине своей души она знает: нет человека, достойного ее истинной любви.

Так, и в жизни писательницы. Израэль Розенцвайг во многих духовных измерениях оказался той опорой, которой у нее не было со дня рождения.

В начале тридцатых годов распался их семейный очаг в Берлине. В возрасте пяти лет она была спасена от нацистов и увезена в Израиль. Девушкой она загорелась сионистской идеей. На долгой дороге осуществления строительства страны и возрождения нации, испытала она много трудностей и горечи, главным образом от культурного климата в стране и от собственного характера, которые без конца ставили перед ней препятствия, не дающие ей влиться в общественную жизнь. В пустынной стране она чувствовала себя чужой и никому не нужной до того дня, когда ее нетривиальный ум, талант и эмоциональность нашли духовную и душевную поддержку со стороны мудрого, многостороннего человека с истинно поэтической душой.

С кончиной этого человека, она осталась одна, с расстройством чувств, но с его духом и завещанием:

«Мы оба росли сиротами. Оба вкусили горечь сиротства. И я не успокоюсь и не пребуду в вечном мире, если ты не создашь дом нашей дочери. Выйди замуж за Шалхевет Приера. Он любит вас. Я говорил с ним об этом».

Она же провалилась во тьму, и даже не могла обдумать возможность жить с кем-либо под одной крышей. Колесо спасения потянуло ее из этих тяжелых глубин в неожиданном для нее самой направлении. В возрасте пятидесяти одного года Наоми Френкель, которая выглядела гораздо моложе своих лет, призывается на службу в подразделение морских коммандосов, чтобы вести дневник секретной деятельности подразделения, расследуя его успехи, ошибки и провалы. Она работает много часов, но этого недостаточно, чтобы развеять черную меланхолию, окутывающую ее душу день за днем, час за часом. Старшая ее сестра Лотшен боится за ее состояние, которое может погрузить Наоми в безумие, и требует ответить на ухаживания известного, солидного журналиста, человека действия, полного энергии, Меира Бен-Гура.

«Со временем в нашем доме поселится любовь», – сказал он, предлагая ей руку и сердце, пытаясь вжиться в образ Израэля духом и душой. В том состоянии, в котором она была, лишенная своего взвешенного мнения, она согласилась со старшей сестрой во имя дочери, и сдалась оптимизму Меира, главным образом, из-за глубокой разницы между ее Израэлем, человеком духа, и Меиром, человеком дела. В тот ответственный час жизни совесть ее не мучила, ибо из бесед с Меиром она поняла, что он не обладает талантом любви и вообще не знает, что такое истинная любовь. Не было у нее угрызений совести еще и потому, что Меир согласился с ее условиями и не требовал ее любви. Достаточно ему было жены и друга, которая, естественно, будет варить, и стирать, и принимать его друзей. Он позволял ей жить с ее Израэлем. В то же время старый ее друг, ученый Шалхевет Приер говорил, что будет ждать, пока она преодолит боль от смерти Израэля, и они смогут вместе создать дом, основанный на истинной любви. В отличие от Меира, он не желал удовлетвориться даже горячей дружбой. После смерти Израэля она продолжает сопровождать солдат по всей стране от северных границ до Негева, Синаи и берега Суэцкого канала.

Эти солдатские будни и переживания спасают ее от депрессии и мрака, окутывающего ее душу. Молодые голоса, молчание воинов, их проблемы, гибель под сенью Войны на истощение отвлекают ее от личной жизни. Она – майор Армии обороны Израиля, а вовсе не жена, как все жены. Рискованные операции откладываются в ее памяти рассказами из военной жизни.

И в романе «Ваш друг и дядя Соломон» и в романе «Дикий цветок» юмор и ирония диалогически сливаются. Она использует язык бойцов-коммандос, с которыми провела немало времени в бункерах на берегу Суэцкого канала.

Например, образ доктора Боба списан ею с личности доктора Хаима Шоама, который сопровождал ее в нелегких пеших походах, в упражнениях по стрельбе, в парашютных прыжках и в других операциях, в которых она упрямо желала участвовать, наравне со всеми бойцами.

В романе «Дикий цветок» она снова описывает все положительные и отрицательные стороны жизни в кибуце. Шлойме Гринблат, к которому в кибуце относятся с особым почтением, громоздит слово на слово, и вся эта пустая болтовня изображена Наоми Френкель с большой долей иронии.

«И я говорю вам, товарищи, и я повторяю, что ситуация наша похожа на ту, которая возникает между хищником и его жертвой. Хищник нападает, и жертва остается жертвой. Таким образом, становится насущным вопрос: кто хищник и кто жертва? Это и есть диалектика в дуализме хищника и жертвы, когда не каждый, кто видится жертвой, он и есть жертва, и каждый, кто видится хищником, и есть хищник».

Писательница не скрывает одну из самых тяжелых болезней кибуца, создающих затхлую атмосферу, и это – злословие, сплетня на сплетне. Это принесло ей много боли и горечи, когда она была девушкой, молодой женщиной, которая чувствовала себя отверженной обществом и лишенной возможности защищаться и, вместе с тем, снискавшей уважение своим умом и мудростью. Она декларирует: «Время между закатом и наступлением сумерек словно бы предназначено для сплетен» (). И еще там пишется «...сплетни уже втолкнули Юваля в ее постель, и все жалеют этого наивного дурачка, который потерял невинность с Ада».

В главе шестой персонифицируется эта язва коллективной жизни – злословие. «В дни, когда Амалия уже была при смерти, по кибуцу прошел слух, что Ада проводит ночи с Рахамимом. Давно кибуц чешет языки по поводу Ада».

Вообще, все изменения в жизни кибуца подносятся читателю с точки зрения дяди Соломона, одного из основателей кибуца. Он и объясняет общественное положение Ада в таком закрытом коллективе, каким является кибуц:

«Все они – Ада, Мойшеле, Рами, Рахамим, Юваль, все ее любовники – одного сорта: нет у них ни верности, ни измены. Меняют мужчин и меняют женщин, как нечто само собой разумеющееся. Не знают они ни трагедий, ни обманов, ни мучительных сердечных тайн, ни глубоких переживаний, ни боли измены. Все просто и открыто, все обычно, как делают все. Господи, больно мне за мою малышку. Красивое ее лицо обманчиво, как и весь грубый мир вокруг, где известна каждая звезда, висящая в пространстве...» (Глава седьмая).

Завершу свое небольшое вступление кульминацией романа в письме Мойшеле дяде Соломону в последней пятнадцатой главе романа. Это, по сути, виртуальное письмо, обращенное душой писательницы к своему Израэлю, повествующее о духовной силе народа Израиля, народа преследуемого, подавляемого, и все же не сдавшегося своим страданиям. Силой страдания он вечно возрождался и не был побежден. В сущности, основой письма является рассказ о могилах старейшего еврейского кладбища в Вермейзе (ныне Вормс) в Германии, и в противовес ему описывается распространяющееся явление в атеистической среде государства Израиль: евреи не хотят быть евреями. Называют себя израильянами в желании быть такими, как все народы.

Как у дочери ассимилированной еврейской семьи, как у дочери большой многочисленной семьи, ветви которой были обрублены в Катастрофе, Наоми Френкель особенно ревностно относится к попыткам сынов ее народа раствориться в чуждых ему культурах. Писательница обеспокоена иллюзией, возвращающейся не первый раз в истории евреев. Когда им открывают ворота, они склонны потерять свою идентичность в надежде, что антисемитизм исчезнет. Сама же она посвятила много лет изучению иудаизма. Историю народа Израиля и его страны она изучала на фоне истории народов, с которыми евреи вступали в прямой или косвенный контакт. Прямую поддержку в этом она получала от истинных мудрецов поколения. Это были уже упомянутые профессор Гершом Шалом, историк Хаим-Гилель Бен-Сасон, писатель Шмуэль Йосеф Агнон и, конечно же, в первую очередь, Израэль Розенцвайг, который занимался исследованием диаспоры и освобождения народа у великого еврейского мыслителя позднего периода Ренессанса Рабби Иегуды Арье Модина.

Иудаизм является основой всех сочинений писательницы. Предки наши были изгнаны из Испании, она сама была изгнана из своего дома в Германии в 1934 году только потому, что она еврейка. Одиноким подростком, круглой сиротой она приехала в страну осуществить свою мечту.

«Страна Израиля восполнила мое сиротство», – не раз говорит она мне, и во взгляде ее видна боль, приносимая ей ассимиляцией и вырождением иудаизма именно в стране, которая должна быть символом возрождения иудаизма, с одной стороны, искрой глубокой веры в вечность иудаизма, с другой.

Доктор Ципи Кохави-Рейни  
биограф писательницы Наоми Френкель.



## Глава первая

Элимелех и Соломон подолгу следили за солнцем, которое восходило, закатывалось за гору, гуляло над равниной, кочуя по небу. Из-за утренних облаков являлось оно поверх горы, вершина которой озарялась чистейшим сиянием рассвета, и, после дневного своего странствия, добиралось до горных хребтов, высящихся на закате, чтоб спуститься за темной громадой горы, навек взирающей на противоположную гору в стороне восхода. Утром Элимелех и Соломон видели пальмы и слушали пустынную скуку равнины, чуть шуршащую в кронах пальм. На закате ветер посвистывал в широких ладонях пальмовых листьев. Это был великий час ветра. В эти минуты, когда день таял на глазах, ветер носился по равнинам и долинам, а они цепенели от звуков, от эха, несущегося со всех сторон, даже от отдаленных гор на горизонте. Гулял ветер по тропам, вздымал ввысь сухую, ставшую пылью, почву, и столбы тонкой этой пыли словно соревновались по высоте с пальмами. В часы захода солнца ветер вел пальмы по тропинкам неба долгой дорогой, длящейся с восхода до заката. В это время сидели Элимелех и Соломон у входа в палатку, у подножья горы со стороны восхода, глядя на закатное солнце, и Элимелех говорил Соломону: «Наш кибуц расположен между восходом и закатом».

Горы замыкали со всех сторон долину, которая в те дни была пустынной степью. Рассеченные глубокими ущельями скальные хребты, казалось, все время приближались к долине, скатывая к ней свои крутые склоны. У подножий били источники, вырываясь из скальных расщелин и проливаясь в болото, которое отделяло горы от долины. Эти воды, смешиваясь землей, лишь увеличивали болото, а земля в долине оставалась сухой, как в пустыне. Один из родников бедуины называли «Источником «Почему?». Откуда это странное имя? Бедуины приходили в рощу около родника, распластывались на земле и вопрошали Аллаха: «Иа, Алла, почему родники эти бьют из гор, а до земли не доходят? Почему она должна умирать от засухи? Почему?»

Элимелех и Соломон часто приходили вместе бедуинами и тоже молились. Глядя на живой родник, Элимелех возносил глаза к небу и спрашивал: «Господи, Владыка мира, почему?»

Родники продолжали изливаться в болото, пальмы шумели на ветру, молящиеся шептали молитвы, и только горы безмолвствовали, замерев поодаль.

В день невыносимого зноя, без капельки свежего дуновения, туманы всходили со дна долины, карабкались в горы с явным желанием захватить небо. В такой день пальмы стояли без движения, и вершины их прятались в облаках, желая убежать от земли в сумерки сотворения мира. Сказал Элимелех Соломону: «Эти деревья – со времен создания Вселенной».

Пальмы на болоте отличались от пальм долины. Здесь, в долине они отрастили бороды широких, в ладонь, листьев, что придавало им величие старости, в то время, как у пальм, растущих у болота, кроны отличались свежестью, и стволы были гладкими, как лица юношей. И поглядывали они на старые, изборожденные трещинами, щербатые от множества лет, стволы, которые действительно виделись им от начала мира. Когда же в долине появился человек, пал огонь на пальмы возле болота в знойные дни, и каждое лето их кроны вздымались языками пламени, тянувшимися к небу и горам. И степь словно бы вся вспыхивала огнем. «Пальмы шумят, сгорая, как будто рушатся столпы Мира», – сказал Элимелех Соломону.

Каждое лето пальмы сгорали, и каждую зиму дождь оживлял обугленные стволы. Весной пускали они молодые побеги и протягивали в небо ладони зеленых листьев, пока вновь не приходило лето, и опять их съедал огонь. Вечность пожара и жертвенности и вечность их возрождения – вот тайна юности пальм. И Соломон сказал Элимелеху: «Надо защищать пальмы от огня». Но Элимелех, который изучил тайные законы степи, не соглашался с Соломоном: «Борьба с огнем беспредельна, ибо вспыхивают они волей Бога, и нет у нас иного выхода, как

познать Его волю в Его стране, познать и истолковать Его стремления на Его земле, которая является нашей землей».

Летними ночами спускались Элимелех и Соломон к пылающим пальмам и наблюдали за языками огня. Элимелех пристально вглядывался в горящие деревья, словно бы различая тайны, видимые лишь ему одному. Воздух в роще был раскален, и Соломон просил Элимелеха – не приближаться близко к огню. Элимелех не слушал, но языки огня не обжигали его.

Глаза его изучали ночную равнину, освещаемую пламенем. В долине после очередного кочевья остановились бедуины и ставили свои горшки и котлы на огонь разведенных ими костров, и ветер подхватывал искры, неся их к пальмам и поджигая их. И раскрывались их ладони к небу красными веерами. Небо и земля раскалывались над усиливающимся пламенем. Элимелех постукивал пальцами по коленям в ритм огня. Затем сказал: «Господи, Владыка мира, в чем согрешили мы перед тобой, что искры сжигают молодые побеги, а не падают в болотную скверну?»

Огонь свистел, и ветер носился над сгорающими пальмами. И месяц с высот следил, словно око Всевышнего, за пожаром.

В свободное время Элимелех спускался в рощу к чистому пруду. В дневные часы степь изматывала зноем бедуинов, их верблюдов, ослов и скот, и все стремились к пруду, окруженному стенами скал, куда стекала вода из расселин. Водопад прорывал плотину, и вода текла по каналу до мельницы, вращая ее жернова. Звуки вращающихся камней и насоса беспрерывно слышны были над окрестностью, и так же беспрерывно двигались к мельнице бедуины, и собранные ими не очень обильные зерновые несли на горбах верблюды, на спинах – ослы, на головах – женщины.

В пруду поил свои стада шейх Халед, глава многочисленного колена. Он был высокого роста, носил черный халат. Серебряный кинжал, украшенный дорогими камнями, был приторочен к его поясу. Белый платок – кафия – обрамлял его смуглое лицо, странным образом напоминающее землю равнины. На плоском лице резко выделялся острый нос и черные, горящие, хитрые глаза. Кожа его, высохшая на солнце, была изборождена глубокими морщинами, и весь его облик излучал мужество и властность. Халед был властелином источников и этих земель. Имущество его исчислялось множеством верблюдов, коней, ослов и скота, а также – женщин и потомков, большинство которых было мужского пола. В предвечерние часы, когда все эти стада возвращались с горных пастбищ к пруду, они проходили мимо Халеда, и он изучал пристальным и пристрастным взглядом каждую скотину в отдельности. Безмолвно, окаменев в своем величии, стоял шейх на смотре своего войска. Перед ним проходил строй верблюдов, коней, овец, козлов, женщин, юношей, до самого по-следнего осла, замыкающего колонну, больного и спотыкающегося от старости. Первенец шейха с большим почтением вел этого осла, и когда он приближался к повелителю степи, шейху Халеду, тот распластывался лицом к земле перед едва стоящим на своих четырех ногах старцем. Халед, великий шейх, каждый вечер совершал эту церемонию перед несчастным животным. Элимелех спрашивал своего друга:

«Почему ты это делаешь, йа Халед?»

«Потому что он у меня первенец, йа хаваджа Элимелех. От него пошло мое несметное богатство, и на то желание Аллаха, чтобы я отдавал ему высший почет».

«Йа, Халед, этот старый осел для тебя, как пальмы для нас – у них мы открыли для себя великую тайну возрождения жизни из ее уничтожения», – говорил Элимелех, всматриваясь в пальмы, на которых уже были видны новые побеги после первого дождя.

Элимелех и Халед сидели на обломке скалы, подобной трону, под смоковницей, у источника, рядом с которым чернело болото. Они были добрыми друзьями. Элимелех научился у Халеда немного говорить по-арабски, а тот, в свою очередь, выучил у Элимелеха некоторые слова на иврите, и беседа их медленно текла рядом с водами источника. На поверхности болота плавали обломки древесных корней самой странной формы, и Элимелех извлек один из кор-

ней и почистил его. Эти причудливые корни считались у бедуинов оракулами, и по ним старейшины племени читали будущее, предостерегая от болезней и катастроф. Взгляд Халеда был сосредоточен на руках Элимелеха, стригающих корень, и он спросил:

«Почему ты это делаешь, хаваджа Элимелех?»

Спросил, не ожидая ответа, зная упрямое молчание друга Элимелеха. Затем положил тяжелую ладонь на перочинный ножик Элимелеха и сказал строгим сердитым голосом:

«Кончай!»

«Почему?»

«Не прикасайся к корню дерева».

«Почему?»

«Деревья священны. Корни их нисходят в преисподнюю, а вершины восходят в небо. Дерево это мост между преисподней и небом. В них – наследство мертвых и пророчество Бога».

Элимелех не прислушался к голосу друга и продолжал строгать, но пронзительный взгляд Халеда не сходил с ножика, и руки Элимелеха начали замедлять движения, затем и вовсе их прекратили. Щелкнул, закрываясь, ножик. И незаконченное творение Элимелеха полетело обратно в болото. Из болота беспрерывно всплывали пузыри воздуха, словно горячее дыхание живых существ. Указал шейх на эти пузыри и разъяснил своему другу Элимелеху:

«Это дыхание тех, кто утонул в болоте. Они не погребены, как следует. И теперь они ни мертвы, ни живы. И наш долг, йа хаваджа Элимелех, извлечь их из болота и похоронить под этими деревьями».

«Зачем, скажи, йа Халед, мертвому дерево?»

«Дерево это как дом для человека, йа хаваджа Элимелех. Посадит человек дерево и построит рядом с ним дом. Но и мертвый нуждается в доме».

Сидели они на обломке скалы, смотрели на пузырящееся всплывающим со дна воздухом болото, и каждый был молчаливо погружен в свои думы, пока солнце не начинало склоняться к закату. Приходил старый осел, и великий шейх вскакивал, чтобы поклониться ему. Халед, повелитель степи, распластывал длинную тень на землю и на источник, и Элимелех, такой же высокий, отбрасывающий длинную тень, стоял возле него. Халед и Элимелех, два исполина на жесткой земле, два друга, мощных телом. А степь сухую и горячими ветрами набрасывала узду на всё, что пыталось восходить и расти. Но Халеда и Элимелеха степь не могла обуздать.

По тропе, протоптанной ослиами и верблюдами, возвращался Халед в свой шатер. И по той же тропе уходил Элимелех в кибуц. Ночь опустилась на замершую степь. Только горы вдали продолжали шелестеть и шептать.

Прошли годы, и степь преобразилась. Сухая равнина ветра, туманов и болот, обернулась страной белокаменных сел. Тропы верблюдов и ослов превратились в асфальтовые шоссе. Потрескавшаяся от засухи земля, в прошлом усеянная редкими пальмами и могилами героев, ныне выращивает зерно, цветут фруктовые и цитрусовые сады. Вращаются оросительные установки, и земля дышит и живет. Бедуины оставили равнину, ибо обработанные трудолюбивыми евреями поля и сады не подходят для пастбищ и костров. А с их уходом исчезли пожары, и высохли болота. Евреи осушили их, и герои Халеда, которые утонули в нем, нашли вечный покой под посаженными на тех местах эвкалиптами.

Халед, великий шейх, присоединился к своим праотцам, вскоре после того, как сдох старый осел. Рак съел желудок Халеда, а затем и его самого. Уберег Халеда Аллах от необходимости вступить в раздор с евреями и увести свои стада по ту сторону гор, на новые пастбища. За это Элимелех поблагодарил Бога, сидя на обломке скалы, напротив пылающих пальм, и помолился за упокой и вознесение души Халеда. В этот миг буйно вспыхнул огонь, послав поток искр в чистый пруд.

Прошли годы, и степь преобразилась, но жаркие летние ночи на равнине остались теми же, лишаящими все живое сна. В полях созрела кукуруза, и дети кибуца ринулись собирать початки в мешки. В жаркие вечера они зажигали костры и варили кукурузу в задымленных жестянках. Дети подливали в костер керосин, языки огня поднимались высоко в небо, и ветер нес их искры в сторону пальм. По традиции все поколения поджигали пальмы даже в новые времена.

Элимелех сидел на обломке скалы, не отводя взгляда от пылающих пальм, от ухоженных поселков, садов и плантаций, от еще зеленых кукурузных полей и сжатых нив, и прислушивался к плачу шакала, уханью филина, лаю собак, мычанию коров и даже кудахтанью кур. Ветер свистел над вершинами гор, как это бывает в ночной степи. Полная луна следила за цветущей равниной, и Элимелех говорил сидящему рядом другу своему Соломону: «Господи, Владыка мира, почему ты продолжаешь посылать нам огонь каждый год? В чем мы провинились перед Тобой?»

Соломон молчал. Говорил только Элимелех. Не всегда понимал Соломон друга, но все, исходящее из уст Элимелеха, оседало в его душе, не давало покоя до тех пор, пока внезапно все для него прояснялось.

Элимелех покинул кибуц, уехал в Иерусалим, а потом оставил сей мир. Степь сбрасывала старую форму, облекаясь в новую. Возникли рыбные пруды, и долина все более расцветала, обретая благословенный небесами вид. Только пальмы сохраняли старую традицию – сгорали летом и оживали каждую весну.

И в эти весенние дни спускается Соломон к пальмам – следить за их возрождением, посвящая это памяти Элимелеха. Называет эти деревья про себя «пальмами Элимелеха» и вспоминает свои беседы с другом. Сидит на том же обломке скалы. Сидит, погруженный в размышления, и многое из сказанного Элимелехом, лишь сейчас становится ясным до конца.

## Глава вторая

Горячее дыхание хамсина возвещает Соломону приход весны. Пятый час после полудня. Канун субботы. Соломон вернулся с работы в Хайфском отделении товарищества по сбыту сельскохозяйственной продукции «Тнува» и, обессиленный жарой, лежит в постели. Окна раскрыты, и комната продувается насквозь горячим ветром. Надо бы встать и включить кондиционер, да лень подняться, и он продолжает лежать на простыне. Листы бумаги, лежащие на письменном столе, сдуваются ветром, и они, шурша, рассыпаются по полу. А Соломон все лежит, разомлев, и горячий ветер обдувает его кожу. Он лежит, не оттирая пота, а мысли его далеки от пылающих прикосновений хамсина. Канун субботы с момента кончины Амалии стал для него днем черной меланхолии. Смотрит Соломон на форточку и вздыхает: рой комаров и мушек тычется в сетку. В резком свете солнца они мелькают черными точками, и их беспокойное жужжание еще больше напрягает нервы Соломона. И так не дает покоя преддверие субботы, часы, когда они с Амалией играли в шахматы.

Смотрит он на грядки у дома и видит сорняки, проросшие среди ухоженных Амалией кустов алых роз. Соломон говорит сам с собой вслух. Это стало привычкой в последний год невыносимо долгого одиночества.

Комната отвечает ему его же шепотом, и он вскакивает, забыв усталость. Он смотрит на грядки, как будто видит их в первый раз. Даже в этот тяжкий траурный год он должен их вскапывать, что делал каждую весну. Сегодня на душе Соломона тяжелее, чем обычно в канун субботы. Каждую весну, он становится необычайно активен, и это приводит всякий раз к конфликту с кибуцем. Соломон выступает на собраниях с острой критикой и предложениями по улучшению жизни в коллективе. Нет конца его весенним речам и ворчанию.

В дни вскапывания грядок и клумб он копается в ящиках письменного стола, извлекает горы бумаг и, восседая среди этого хаоса, читает старые письма Элимелеха. Амалию это ужасно сердило, и она спрашивала его: «Соломон, я тебя спрашиваю, Соломон, когда, наконец, кончится этот балаган, это твое весеннее копанье?»

Амалия придумала этот оборот – «весеннее копанье». Знала умная его Амалия, что корни этого «копанья» уходят в письма покойного Элимелеха. Они-то и пробуждали вопрос, с которым он обращался к самому себе все годы: какова цель твоей жизни, Соломон?

Он вертел этот вопрос и так и этак, но не находил ответа. Он ходил среди растущей лозы и зацветающих роз, и копался в себе до начала лета. С приходом знойных дней сердце и мозг его замыкались, и он переставал пытаться себя вопросами.

В эту весну, первую без Амалии, ящики закрыты, и он даже не смотрит на письменный стол. Эта весна не похожа на предыдущие весны. Но копать грядки необходимо. Вспоминает Соломон пальмы на равнине, и губы его шепчут молитву: «Господи, Владыка мира, приходит весна, и пальмы Элимелеха оживают».

Встает Соломон с постели в тревоге, и не мучается вопросами, а только тоскует по пальмам Элимелеха, по вехам прошлой жизни. Он с силой захлопывает за собой дверь, так, что сотрясаются «волосы Суламифи» в вазоне у входа. Надев рабочую обувь, покрыв голову панамой, называемой в стране «колпаком дурака», он идет к пальмам Элимелеха, возрождающимся к новой жизни в роще, у бьющего из скал источника.

Весна развернулась в горах и в долине. Соломон вынужден пробивать себе дорогу в густых зарослях диких трав. Тропа, ведущая к подножью горы, раздваивается. Одна ведет вверх, другая вниз – на равнину. Долина распростерта перед Соломоном, и он замирает. Знойный хамсин властвует в цитрусовых и фруктовых садах, господствует над нивами, прокатываясь волнами разных оттенков зелени. Зерновые колышут полновесными колосьями перед приближающейся уборкой. Над рыбными прудами, поблескивающими на горизонте, стоит дум-

пальма. Ощущение легкости спускается в душу Соломона: вот, сбежал он из тюремных стен квартиры, куда сам себя заключил. И он снимает с головы панаму, подставляя всего себя – пусть знойному – ветру.

Соломон продолжает свой путь и приходит в эвкалиптовую рощу. Порыв влажного ветра обвеивает лицо. Весна еще не проникла сюда. Запах плесени и гниющих растений стоит между деревьями. На дне промоин, вырытых дождем, еще видны следы зацветших вод, и тучи комаров и мушек реют над ними. Между эвкалиптами нет тропинок, и все пространство покрыто дикими зарослями. Соломон взят ими в плен, продвигается, отступает, но продолжает свой путь. Ему приходится перепрыгивать через промоины, и еще не утраченная способность прыгать доставляет ему большое удовольствие. Тишина царит в темной роще, поэтому каждый шорох в ней пронзительно громок. В кронах эвкалиптов не прекращается птичье щебетание, как и в травах – жужжание и цоканье множества насекомых. Соломон увеличивает шаг. Здесь он прогуливался с Амалией, и теперь это она ведет его между деревьями и ускоряет его шаги. У Амалии они были очень широкими. И нужно было стараться отстать от нее. Ее раздражала медленная, ленивая ходьба.

Каждую зиму, после первых дождей, они спускались к пальмам, посмотреть на новые побеги жизни от обугленных стволов. В высоких резиновых сапогах шли они по этой же тропе вдоль хребтов, через цитрусовый сад, виноградник и эвкалиптовую рощу. Крупные капли дождя падали на них с деревьев. Подошвы тяжелых сапог оставляли глубокие следы на влажной земле. И каждый раз они перепрыгивали через глубокие промоины, пробитые первыми сильными ливнями. И рука Амалии не оставляла его руки. Как рукавица, обхватывали шершавые пальцы жены его холодную руку. И выходили они из эвкалиптовой рощи, всегда взявшись за руки. Ее рука согревала все его тело. И аромат, идущий от нее в эти минуты, был подобен запаху свежих цветов и трав, возникших с первыми дождями. Холодные зимы в долине, но Амалия даже не чувствует порывов ветра. Только куталась в старую овечью шубу, запах которой изводил Соломона. И все же запах этот пробуждал далекие воспоминания. Из овечьей шубы Амалии воспоминания докатывались до Элимелеха. В те дни здесь стоял запах овечьего и козлиного помета. Животные выщипывали каждый клочок травы между деревьями рощи. Склоны горы были покрыты пасущимся скотом. Элимелех и Соломон сидели на обломке скалы. Вода из источника вырывалась из скалы мощной и шумной струей. Она омывала скалистую землю и сухие ущелья, водопадом спадала в долину, стекая в болото. Болотистая земля превращалась в пруд, над которым белым легким облаком висели брызги. Элимелех с высоты скалы видел и слышал все это. Он видел и равнину и зеленые, нежные побеги, пробивающиеся из обугленных стволов.

Между пальмами слышалось блеяние коз и мычание овец, и ветер ворошил кроны финиковых пальм. На плоских пространствах торчали черные скалы, похожие на гигантских пресмыкающихся. Между ними протягивались узкие полосы черного болота. На равнине солнце было жарким и зимой. Лучи его нагревали влажную землю, и пары тумана поднимались от поверхности. Горизонт был размыт, и трудно было определить, откуда приходят туманы, от земли или с неба. С усилением ветра воздух начинал дрожать, и горизонт казался сверкающим озером. Бесчинствует буря в долине, и столбы серой пыли прорывают, как струи, туман, делая более реальным воображаемое озеро на горизонте. В роще шумит родник. Зимой он – самый мощный среди источников равнины – становится мутным в глубоких расщелинах горы.

В далекие дни Элимелеха молодые бедуинки медленно приближались к источнику, чтобы набрать воду. Одеты были во все черное, держали кувшины на головах. Почти все были беременны. Ожерелья из серебряных монет позванивали на шеях, груди раскачивались при ходьбе. Они становились на колени у источника, подставляли кувшины набегающим водам и касались животами земли, беременной дождями, и все это под бдительным взглядом Элимелеха.

Около источника сидел Отман, согнувшись в своем темном халате, и жевал жвачку из фиников. Цвет кожи и худоба его лица походили на высушенный плод абрикоса. В руках он держал полую тыкву, полную меда. Резкими движениями он раскачивал ее, сбивая мед в твердые куски. Назначен был Отман следить за источником самим великим шейхом Халедом, властителем всех источников в долине.

Воды этого родника были слаще и чище других, и потому предназначались лишь для приготовления кофе. В жаркие дни лета источник мелел, и Отман охранял драгоценные капли. И женщины несли на головах небольшие кувшины, а не емкие, какими они черпали воду из других источников. Шли они, покачиваясь, мелкими шажками, словно танцуя на тропе.

Зимой же, когда много воды, и брать ее можно вдоволь, Отман отменял свой надзор, но продолжал сидеть у источника, ибо привычен был сидеть здесь, получая за это четыре лепешки в день – оплату от великого шейха Халеда.

Раскачивал Отман тыкву, и этот однообразный ритм сопровождал его непрерывающуюся болтовню о том, о сем. Элимелех сидел недалеко от Отмана, на своем троне – углублении в скале, удобном, как будто созданное специально для него. Над ним раскинула крону старая смоковница, половина тени которой покрывала Элимелеха, а другая половина – источник. Птицы посвистывали в ее листве, и Элимелех с удовольствием отдыхал. Приподнял Элимелех голову, прислушиваясь, и вот поверх скал послышались голоса, неторопливо плывущие на облаках тумана. Финиковые пальмы колыхались на ветру.

У источника птичка рассыпалась руладами. Куропатки испуганно покинули заросли. Но миг тревоги миновал и снова воцарился покой, и спокойно послышались шаги на тропе. Покой объят степь, и верблюдов и раскачивающего тыкву Отмана.

Вобрал Элимелех голову в плечи. И был он подобен осколку кувшина, разбитого у источника, оскорблен и обижен судьбой. Всю зиму он вспоминал.

Соломон и Амалия гуляли в оживающей пальмовой роще. Амалия собирала цикламены между скалами, а Соломон сидел на обломке скалы, на месте своего друга, прислонившись к скале, в безмолвной тени смоковницы – и тоже вспоминал. Представлял себя Соломон Элимелехом, и взгляд его скользил по долине, останавливаясь на бедуинских кострах. Ночью все видимое изменяется, и каждый шорох несет в себе тайну Элимелеха. Вот, они еще совсем юноши, стоят на берегу реки в далекой Польше, и посланец из Цфата склоняет свое бородатое лицо, и рассказывает о святой земле Израиля, возвращая Элимелеху и Соломону потерянного Бога.

Здесь, у источника в пустынной степи, «слоняет Элимелех голову и вступает в беседу с Отманом, который печет лук на костре.

«Откуда ты пришел сюда, йа Отман?»

«Я из Хорана, хаваджа Элимелех».

«Значит, ты не родился здесь?»

«А ты родился здесь?»

«И я тоже не родился здесь».

«Откуда же ты пришел сюда, йа хаваджа Элимелех?» «Издалека».

«Там была засуха?».

«Там текла большая и полноводная река».

«Ты кого-то там убил?»

«Почему я должен был кого-то убивать, йа Отман?»

«Йа хаваджа Элимелех, ты сюда явился из-за кровной мести».

«Никого я не убивал».

«Ты сумасшедший, йа хаваджа»

«Почему это я сумасшедший?»

«Потому что ты оставил реку, чтобы быть здесь со змеями, скорпионами и лихорадкой».

Элимелех смотрит на источник, Отман – на пекущийся лук. Месяц смотрит на них двоих, и на равнину, освещая лицо Элимелеха и печальную его душу.

Соломон, сидящий на месте ушедшего друга, вглядывается в пальмы. Но тут возникает Амалия с букетом полевых цветов и нарушает печальное уединение Соломона:

«Что с тобой, Соломон?

«Что-то со мной должно быть?»

«Ты выглядишь больным».

«Я думал об Элимелехе».

«Хороший был парень».

Протянула Амалия руку Соломону, помогла ему подняться, и они возвращаются домой. Солнце зашло. Бледная тень месяца возникла за вершинами эвкалиптов, и Амалия с Соломоном идут по старой тропе Элимелеха. Тропа пустынна. Длинные полосы света, тянущиеся из кибуца, освещают им дорогу домой.

Но Элимелех умер, и Амалия ушла из жизни. Шакалы перестали выть на вершинах гор. Обработанная и обращенная в сады и нивы равнина освободилась от шакалов. Соломон в одиночестве перепрыгивает промоины, наполненные водой. Прошла зима, вот, и первая без Амалии весна. Воздух тот же опьяняющий как во все весны. Острый запах эвкалиптов смешивается с запахом цветущих цитрусов, и все это обостряет чувства. Надышавшись этими запахами, Соломон покидает эвкалиптовую рощу, направляясь в сторону пальм, и застывает на месте. Неужели? Не обманывают ли его глаза? Перед ним та же роща, и бьющий из скалы родник, и скала Элимелеха торчит из густых зарослей травы, и старая смоковница покрывает его тенью. Все, как было в те давние дни. Но только нет пальм. Исчезли, и даже пня от них не осталось. На лице Соломона смущение и испуг. Он протягивает руки к исчезнувшей роще, и голос его звучит эхом в пустоте: «Господи, Владыка мира, пощади меня. Может, я брежу?»

Соломон бежал домой со всех сил, насколько могли это делать его старые ноги. Как человек, убегающий от самого себя и от своих галлюцинаций. Тяжело дыша, он вошел во двор кибуца. Солнце садится, и двор пуст. В эти предвечерние часы родители проводят время с детьми в своих домах. Пришла суббота, и столовая светится всеми окнами. Столы покрыты белыми скатертями, но зал еще пуст. Дежурный по столовой – Фистук, инициатор всех декоративных новшеств в кибуце. В белом фартуке он толкает ручную тележку, полную бутылок вина. Именно Фистук и нужен Соломону в эти минуты, и он торопится к нему из последних сил:

«Может быть, ты знаешь?»

«Что-то случилось, Соломон?»

«Куда делись пальмы у источника?»

«Ты что, не знаешь?»

«Что я не знаю?»

«Мы их продали».

«Нет!» «Да!»

«Почему?»

«Потому что цена была хорошей».

«Кому?»

«Тель-Авивскому муниципалитету».

«Но почему?»

«Почему бы нет. Посадили их на въезде в город, и они там отлично прижились».

«Господи, Боже мой!»

«Что ты так разволновался, Соломон?»



Соломон не отвечает, поворачивается и выходит по ступеням из столовой, словно бы спускается в глубь собственной души. Медленно, шаг за шагом идет Соломон, и тяжки его шаги.

## Глава третья

Нет ничего удивительного в том, что Соломон не обратил внимания на то, что прошедшим летом, не было пожара, как в предыдущие годы.

Слишком он был занят собой и своими бедами, чтобы заметить, насколько чист воздух и горизонт не пламенеет языками огня.

Смертью Амалии началось испепеляющее лето. Война на истощение завершила его, и в стране воцарился покой. Но Соломон уже не интересовался событиями, как раньше. Жил, отделившись от всего, погруженный в свое одиночество. Лето было долгим, первое лето тяжелого, порой непереносимого одиночества. Утром, когда он взглядывал в зеркало и видел углубившиеся морщины на лице, поседевшие брови и покрасневшие глаза, охватывала его тоска в пустой квартире, выгрызая душу. Внешне, казалось, все осталось по-старому. Соломон вставал в шесть утра под громкое тарахтенье будильника Амалии, выезжал на работу в Хайфу на своей машине, и в час дня возвращался домой. По дороге заходил в столовую и набирал себе еду на ужин. В столовой, как обычно, находилась старая подруга Амалии, которая не давала ему покоя, требуя, чтобы он приходил ужинать со всем коллективом. Соломон уклонялся, объясняя это усталостью. Но ведь летом все устают. Многим старожилам кибуца трудно добираться из дому в столовую по вечерам, и они тоже предпочитают, как Соломон, легкий ужин дома. Но для него, по мнению товарищей, это не подходит, он ведь крепко стоит на ногах, а просто уклоняется от коллектива, что в кибуце не принято и не прибавляет уважения и приязни. Именно то, что Соломон отделился от людей, привлекло к нему повышенное внимание. Соломон же видел себя человеком, у которого отнята личность и уважение, как у члена кибуца, от которого нет никакой пользы. Посмеиваются за его спиной, и Соломон, которого одиночество приучило разговаривать с самим собой, иногда шепчет в пустоте комнаты: «Я виноват во всем, ибо я сам отдаляюсь от всех и занят лишь собой». Не раз уже пытался Соломон отучиться от новых привычек. Не получалось. Каждый день, в три часа после полудня, он заходил в кухню набрать еды, несмотря на отсутствие аппетита и частую изжогу. Амалия в этом разбиралась: может быть, это признаки язвы желудка? Амалия бы требовала провериться у врача. Теперь же, без Амалии, не хочется Соломону идти к врачу. Он равнодушен к изжоге, да и к другим болезненным ощущениям в теле в последнее время. Соломон погружен в собственную душу, и она тоже болит. Квартиру он очень редко покидает. Все летние месяцы после смерти Амалии он безвыходно сидел в доме, уклоняясь от суждений и осуждений товарищей. Его изводило каждое посещение собраний, и он с трудом поднимал глаза на соседей при случайной встрече. После ухода Амалии стал он ужасно чувствительным и напряженным, и любая мелочь откликалась в нем глубоким эхом и выводила из себя. В долгие тяжкие летние ночи крутился Соломон по пустой квартире, слыша лишь тиканье будильника Амалии, и не в силах вырваться из депрессии. Он понимал, что это у него болезненное состояние, но ничего не мог сделать против этого, изменить эту странную жизнь. Он был до предела охвачен одиночеством, которое лишало его спокойной старости.

Ухоженная при Амалии квартира была запущена. Вещи были разбросаны на диване, стульях, по всем углам. В квартире были сделаны изменения, чтобы сохранялся порядок, но это не помогало Соломону. Холодильник поставили на место платяного шкафа в коридоре, таким образом, решив проблему, которая все время мучила Амалию. Шумный холодильник был выдворен из спальни, и там стало слишком тихо. Теперь Соломон перенес туда свой письменный стол, и уже нельзя, сидя за ним, видеть на горизонте рыбные пруды и дум-пальму. Место письменного стола в гостиной пустовало. Только одна лампочка из восьми в люстре Амалии светит, запыленная, оставленная, и нет в ней пользы.

Каждый четверг приходит к Соломону Адас помочь ему с уборкой к субботе. Смотрит она на одинокую лампочку и говорит:

«Надо бы что-то поставить в гостиной».

«Может быть, радиоприемник?»

«Эту рухлядь – посреди гостиной?»

«Почему бы нет?»

«Зачем тебе этот древний радиоприемник, если есть у тебя транзистор?»

«Так я к этой рухляди привык».

«Место это подходит для телевизора»,

«Телевизора?»

«Почему бы нет?»

«Но кибуц запрещает частные покупки».

«У Иорама и Амира есть телевизор. Почему же нет его у тебя?»

«Молодые нарушают законы».

«Им на них наплевать».

«Ну, а что говорят об этом в кибуце?»

«Кто-то осмелится им что-то сказать?»

Агрессивные нотки в голосе Адас еще долго звенят в ушах Соломона. В последнее время у нее появились эти нотки, и Соломон беспомощен перед ними. Может быть, она так ведет себя с ним, потому что в последнее время нет к нему в кибуце особого уважения? Эта мысль доставляет Соломону боль, и он пытается сопротивляться ее напору. Она крутится по его квартире как чужая, и в ее молчании чудится ему скрытая враждебность. Моет Адас пол, нагибается, чтобы достать тряпку из ведра, и длинные ее волосы рассыпаются по лицу.

«Ты же мочишь волосы в грязной воде».

«Ну, и что?»

Она еще ниже опускает голову, и руки ее выжимают тряпку с непонятной для него нервозностью, и он смотрит в смущении на длинные пряди ее волос. Ему мучительно хочется провести тряпкой для вытирания пыли по ее волосам, и это воспринимается им самим, как доказательство того, насколько осложнились их отношения. Адас, которая все годы была его девочкой, оставила его, словно бы ушла, хлопнув за собой дверь. Откровенного разговора с ней давно нельзя добиться, и вот, он стоит перед опущенной над ведром ее головой и протягивает руку, чтобы оттащить ее, даже силой. Он отступает, но внутреннее желание прикоснуться к ней усиливается. Он уже не хочет пройтись тряпкой по ее волосам, а просто обнять ее, и рука его с тряпкой для вытирания пыли дрожит. Его охватывает испуг. Откуда это властное желание прикоснуться к Адас руками? Быть может, над его печалью властвуют какие-то деспотические силы? – спрашивает он себя, и дыхание его убыстряется. Слышит Адас тяжелое его дыхание, выпрямляется, обхватывает рукой всю тряпку, и быстрыми движениями, отдаляясь от Соломона, протирает пол. Она чувствует себя неловко, видя странное выражение лица дяди. Глаза его следят за ней и за ловкими ее пальцами, ногти которых окрашены в красный цвет. Не раз Соломон выражал неудовольствием тем, что девушки в кибуце делают себе маникюр, но Адас больше не спрашивает мнение своего дяди Соломона. Иногда она останавливается, отбрасывая волосы с лица и посверкивая ногтями. Дядя уходит в спальную, не выпуская из рук тряпку для вытирания пыли.

В маленькой комнате беспорядочно разбросаны вещи. Здесь уборкой занимается только Соломон. Адас не входит в спальную дяди. Быть может, груда бумаг на его письменном столе удерживает ее. Открытые письма разбросаны в постели. Соломон единственный, который их читает. Однажды, во втором часу после полудня, когда они обычно пьют кофе, он спросил Адас, займется ли она чтением всего ими написанного. Адас ответила, что читать будет после Мойшеле и Рами, но они-то не приходили читать. Рами все еще в армии и редко приходит

домой, чтобы справиться о здоровье родителей и тут же их покинуть. Соломон не спрашивает его ни о чем. Интересует его лишь Мойшеле, который освободился от службы в армии с окончанием войны на истощение на Суэцком канале, взял в кибуце отпуск, и уехал за границу. Посылает изредка Адас короткие цветные открытки, а Соломону – тоже редко – пишет обстоятельные письма. О страницах, написанных дядей, он даже не упоминает, и не делает никаких намеков о своем будущем. Адас тоже молчит по этому поводу. Похоже, письма, которыми они обменивались, еще больше отдалили их друг от друга. Быть может, вложили они глубоко между строк всю искренность своих личностей, и теперь ощущают себя опустошенными. Или, быть может, после такой откровенной переписки чувствуют они, что выполнили свой долг, и теперь каждый свободен – идти своим путем. Соломон без конца размышлял над их нежеланием читать письма и, в конце концов, пришел к выводу, что для этого явно ему не хватает семи пядей во лбу.

Соломон признал полнейшую неудачу в откровенном разговоре посредством писем, и сердился на себя, ибо ведь знал изначально о провале этой затеи. Переписка, по сути, была бесцельной борьбой, и у нее не могло быть иного завершения. Отвернулся Соломон от этой груды бумаг, так и не наведя в них порядка. Входит он в спальню, отодвигает кровать, небрежно проводит влажной тряпкой по плиткам пола, и этим завершает уборку. Звуки ее доходят до Адас, и она обращается к дяде из гостиной:

«Ты поменял постельное белье?»

«Когда поменяешь?»

«На следующей неделе».

«Каждую неделю ты говоришь о следующей».

«В конце концов, все образуется».

Последнее слово Соломон произносит один раз в неделю, в четверг после полудня. В остальные дни слово это не возникает на его устах. Ничего хорошего не ожидает он в жизни, ничего в ней не образуется. Все долгое лето сидел взаперти в своих четырех стенах, не выглядывал в наружу, потому и не заметил, что пальмы не горят и не освещают эти тоскливые ночи.

Прошла первая зима без Амалии, поля зазеленели, обещая обильный урожай. Но продолжались дожди, и сорняки угрожали полям. Гора тоже покрылась зеленью, и ветер буйствовал, не давая покоя деревьям и людям. Почти всю зиму Соломон не поднимал жалюзи на окнах, и, быть может, именно поэтому он сравнительно спокойно пережил зиму. Кончилось одиночество, измучившее его летом. Больше не изводили его ночи бессонницей, и он засыпал сном младенца без всяческих таблеток.

И этот покой принес ему маленький сиамский кот, новый житель в квартире, которого привезли в подарок Адас Машенька и Иосиф. По традиции, приезжая в кибуц, они первым делом посетили Соломона, вынули из корзины и посадили на ковер котенка – маленькое красивое существо с белой пушистой шкурой в сероватых полосках, голубыми глазами, черными ушками, носом и хвостом. Котенок носился по комнатам, и хвостик его вилял подобно неугомонному чертенку. Он тащил по всем комнатам клочок бумаги, ухватился за брюки Соломона обеими лапками, и снова поскакал по комнатам, подобно шаловливому ветерку.

Соломон был очарован сиамцем и влюбился в него с первого взгляда. Воспоминания обрели вторую молодость и скакали вместе с сиамцем. Пустые комнаты наполнились жизнью. Снова он слышал голос Амалии, когда они вошли в полученную ими квартиру в квартале старожилов, пустую, лишенную жизни, Амалия открыла кран, и хлынула вода сильной струей, и Амалия обрадовалась и сказала: «А-а, живые воды текут в пустой квартире, сама жизнь с ними течет».

Это, пожалуй, были единственные поэтические слова, которые Соломон слышал из уст Амалии, и они хранились в его душе все годы. И вот он их вновь слышал при взгляде на

котенка, взял его на руки и потрепал, как в детстве птичку, которую поймал, но выпустил ее на свободу, потому что полюбил ее.

«Птичка», – бормотал Соломон.

«Как ты назвал сиамца?» – спросила Ада.

«Маленькая птичка», – смущенно сказал Соломон.

«Прекрасное имя», – рассмеялась Ада.

«Есть у меня новости для вас», – вмешался в разговор Иосиф бен-Шахар.

«Что случилось?» – спросили одновременно Соломон и Ада.

«Это не кошечка, а кот», – смеялся отец Ады.

«Кот?» – громко удивился Соломон.

«Я могу тебе это доказать», – пошучивал Иосиф.

«Какое это имеет значение – кошка или кот? – отвергнул Соломон всякое вмешательство.

«Есть небольшая разница», – продолжал веселиться Иосиф бен-Шахар.

«Всегда ты со своими избитыми шутками», – сказала Машенька.

Она сидела на диване, посмеиваясь над мужем и поправляя руками прическу. Машенька вступила в общество, борющихся с лишним весом, и похудела. Исчезли лишние складки, и это вернуло ей что-то от молодости и уверенности в себе. Она перестала быть домохозяйкой, нашла себе общество и личную жизнь, начала посещать вечеринки и покупать одежду в дорогих магазинах Иерусалима. В кибуц она приехала в желтом брючном костюме. Иосиф тоже похудел благодаря диетической кухне Машеньки, но худоба ему не шла, прибавив множество морщин на его лице. Пальцы и зубы у него стали коричневыми от сигарет, которые он непрерывно курил. В новом щегольском одеянии мать не понравилась Аде, а отец просто отталкивал ее, став подкаблучником. Повернулась Ада к ним спиной, подошла к дяде Соломону, и взяла из рук его котенка. Сиамец рассердился и впился в нее когтями. Она быстро вернула его Соломону:

«Хочешь, чтоб он у тебя остался? Пусть остается».

Так сиамец и стал жить у Соломона.

За окнами гудит ветер, и дождь стучит в жалюзи. Соломон сидит в своем кресле, электрическая печь напротив, «птичка» свернулась клубком на его коленях, обоим тепло и приятно. Гладит Соломон мягкую шкуру, и эта вкрадчивая мягкость порождает какие-то бессознательные воспоминания, и он все шепчет: «Птичка, кошечка, птичка, кошечка...»

В один из вечеров бормотал это, забыв о присутствии Ады. Она прыснула, как в детские ее годы. Благодаря маленькому сиамцу потеплели отношения между нею и дядей. Из-за котенка Ада порой являлась и по вечерам. Вбежав с дождя, с мокрыми волосами, она тоже села греться у печки. Парок шел от ее мокрой одежды, и запах дождя распространился по квартире. Расслабилась Ада на диване, волосы ее рассыпались, из бровей выглядывали, светясь, ноги, с которых она сбросила обувь и носки. Соломон сидел напротив, гладил котенка и бормотал.

«Что ты сказал?» – спросила она.

«Птичка».

«А что еще?»

«Кошечка».

«И ты говоришь – «кошечка».

«Кто еще скажет, если не я?»

«Десантники зовут красивую девушку «кошечкой».

«Правда?»

«Давай назовем птичку кошечкой»

«Но кошечка это просто – кот».

«Ну, а «птичка-кошечка» что-то меняет?»

«Птичка-кошечка» – это не просто кот, это – «птичка-кошечка».

Оба рассмеялись. Соломон накрыл Адаас одеялом, сиамец взобрался сверху. Соломон пошел в кухню нагреть чай. Адаас в постели, кот на ней. Крутится у нее на груди и мурлычет от удовольствия. Потягивается, поднимает хвост, погуливает по всему ее телу. Адаас покачивает его на животе, и он спускается ниже, поигрывая с пуговицами на ее брюках. Адаас накрывает его одеялом, и сиамец в полной темноте беснуется между ее ног и дергает за пуговицы брюк. Адаас посмеивается, явно довольная. Кот выпутывается из складок одеяла и снова взбирается ей на грудь, впивается когтями в шерсть облегающей кофточки, ударяет лапами в груди, которые покачиваются, и он цепляется за них лапами как за пытающуюся сбежать жертву. Адаас отбрасывает его, и, падая, он ухватывается за ее волосы, запутывается в них. Голубые глаза сиамца сквозь темные пряди волос поблескивают, как два уголька в темноте. Адаас притягивает его к лицу, потирая кожу его шелковой шкуркой. Люстра бросает на них блики и тени.

Дождь и ветер, смех Адаас и мурлыканье котенка, гудение электрического чайника – все как бы связано в единую игру. Сиамец старается вырваться из рук Адаас, но она силой прижимает его к своему лицу. Глаза Адаас прозрачны и полны света, как и глаза котенка, и они сливаются в единый глаз, острый, хищный, гипнотизирующий. Длинные ее пальцы с окрашенными в красный цвет ногтями держат шкуру сиамца, он выпускает когти, но Адаас рукой защищает лицо. Кот сердится, Адаас посмеивается, и оба красивы и дики. В дверях стоит Соломон с чашкой чай в руках и смотрит на них затуманенными глазами. Адаас чувствует его взгляд, оставляет котенка, но он убегает опять в гущу ее волос. Соломон опускает чашку на стол и садится в кресло. Котенок опять прыгает на грудь Адаас, глаза его закрыты и когти вобранны в лапы. Адаас кажется такой хрупкой, что даже котенок тяжел на ее груди. Соломон любит красотой молодой женщины. Ее глаза смотрят вверх, на потолок, свет лампы отражается в них и взгляд становится мечтательным, как в детстве. Взгляд красивой девочки не от мира сего, в душе которой таится Бог. Когда ей отказывали в чем-то, она не плакала, как другие дети, а глядела удивленными глазами на мир, ожесточившийся против нее, отворачивалась от отказавшего ей человека, и уходила.

Соломон вздрогнул, и рука его потянулась к Адаас, как бы отделившись от него, и не был он властен над собственной рукой, которая сама по себе тянулась к ней. Наткнулась на чашку с чаем, послышался слабый звук, и Адаас сказала:

«Дядя, пожалуйста, достань мои сигареты из кармана пальто».

Подал ей сигареты, и рука его легонько коснулась ее руки. Глаза его не отрывались от «птички», уютившейся на ее груди. Глупая мысль одолела его, не давая покоя: коту можно, а мне нельзя. Адаас погрузилась в свои мечтания, сосредоточившись на курении, глаза же Соломона не отрываются от ее фигуры, скользят по ее оголенным ногам, выглядывающим из-под одеяла. Покрыв Соломон их одеялом осторожным и медлительным движением. Неожиданно схватил кота, потянул его с ее груди и швырнул на пол. Адаас приподнялась на локти:

«Что случилось?»

«Почему ты не пьешь чай?»

Она села на край дивана, взяла чашку, как хорошая девочка, сделала несколько небольших глотков, но по лицу ее было видно, что это теплое пойло ей не нравится, и пьет она его, чтобы сделать приятное дяде. Она снова вернулась в детство, и глаза ее поверх чашки как бы ожидали похвалы за свое прилежание. Соломон стоял, согнувшись у стола, упираясь в него обеими руками, словно настолько ослабел, что без опоры не удержится на ногах, поглядывая на то, как она пьет чай, и пугаясь одолевших его мыслей. Время от времени он отворачивал в страхе лицо, боясь, что она прочтет его мысли, звучащие громким голосом в его душе: «Господи, Боже мой, я влюблен в нее, околдован ее неземной красотой. Господи, но эта любовь неестественна. Сейчас, в конце пути, в завершение всех мечтаний, открывается, что она и есть моя «птичка», маленькая птица с виноградников. Страсть моя к ней не более, чем страсть

старика, который вскоре должен расстаться со всем, с самой жизнью. Господи, чего я валяю дурака, старый хрыч? Чего я желаю от нее? И что мне делать с этой страстью, охватившей старца? И что, Адас наивная птичка с виноградников? Она опытная женщина и разбирается в желаниях. Она – птичка с острыми когтями кошечки. Такова она. А ты – Соломон? Несчастный ты человек, и вся твоя любовь не более, чем сон. Без помощи такого животного ты даже не посмел бы подумать о любви.

«Дядя Соломон, где спички?»

«Почему ты беспрерывно куришь?»

«Мне так хочется».

«Просто невыносимо это твое курение».

«Тебе мешает?»

Адас опустила ноги на ковер, натянула носки, надела туфли, потянулась к пальто. Он глядел на нее настолько пронзительным взглядом, что она явно испугалась. Они стояли молча, она в испуге, он – в смущении, и глаза их не встречались, а блуждали по комнате, прячась между мебелью. За окнами бушевала зима. Просьба Соломона повисла в воздухе:

«Не выходи в такую погоду»

«А что делать?»

«Оставайся».

«Я ухожу».

Хлопнула дверь, так, что закачалась люстра. Котенок открыл глаза, сошел с кресла и, мягко ступая лапами, заскользил в спальную, к постели Соломона. Погасил Соломон свет, стоял в темной гостиной, глядя на электрическую печку, пока не поблекли огненные полосы, и затем, в полнейшей темноте последовал за котом. Свет в спальне он не зажег. Сиамец уже растянулся на одеяле, щелки его глаз светились во мгле. В обществе кота Соломон снова почувствовал спокойствие, и не было у него угрызений совести по поводу грешных мыслей. Помирившись с самим собой, он беседовал с сиамцем: «Ну, кошечка моя, вместо прежней птички есть у меня сейчас кошечка, и, в общем, это тоже неплохо». Глубокий покой охватил Соломона, глаза закрылись сами собой, и спал он всю ночь младенческим сном.

Так прошла у него зима, с бурями, дождями, отдыхом с «птичкой», встречами с Адас, и копанием в самом себе. Может ли удивлять, что пальмы Элимелеха были им забыты. Не хотел он спуститься к пальмам, чтобы увидеть новые побеги, как это происходило каждую зиму.

## Глава четвертая

Звук дрели и голос почтальонши сливаются в ушах Ада. Дрель буравит стену, а почтальонша болтает направо и налево, и та и другая действуют на нервы. «Пришло письмо от Мойшеле», «Где оно?»

«В почтовом ящике Соломона».

В руках Ада открытка от Мойшеле. Гигантское многоэтажное здание сверкает перед ее глазами. Несколько слов: «Привет из Мюнхена. У меня все в порядке. Надеюсь, что и у тебя тоже. Мойшеле».

В узком помещении почты толпятся члены кибуца. Почтовые ящики, это, по сути, полочки с надписанными именами владельцев. Ада разглядывает открытку, а голоса ударяют в уши. Рука тянет за хвост ее волосы. Это Юваль. Он в цветной рубашке с полотенцем цвета сирени через плечо.

«Пошли в бассейн?»

«Отцепись».

Ада идет к почтовой полке Соломона и словно бы тянет за собой улыбку Юваля. Вот, и письмо, довольно объемистое, от Мойшеле. В письмах дяде Соломону он выкладывает все обиды и вкладывает цветные открытки, которые посылает из разных мест. В открытках всегда несколько слов, лишенных значения. Ада ощущает на себе любопытный взгляд Яффы. У доски объявлений ожидает ее Юваль и хватает за руку.

«Пошли».

«Не прилипай».

Резким движением освобождается от его руки. Дневной жар бьет ей в лицо. Первый хамсин – во всей своей силе. Вот уже третий день он свирепствует, и не видно ему конца. В свете полдня гора окрашивается в красноватый цвет. Все тропинки полны кибуцниками, идущими на обеденный перерыв. У большинства в руках газеты. Люди устали, как будто хамсин выжал из них энергию уже в начале весны. Жаркий день так же медлителен и ползуч, как и они. Гора обдает людей горячим дыханием. В серых рабочих комбинезонах, они выглядят в ослепляющем свете пол-дня, как силуэты, выплывающие из покрывающей весь кибуц тени от горы.

Напротив столовой, на траве, под раскидистым старым фикусом, сидит строитель-араб. Следы известки на его рубашке и брюках, панاما надвинута на глаза и прикрывает лицо, черные ногти босых и непомерно больших ног бросаются всем в глаза. Вместо ремешков, у сандалий веревки. Он сидит недвижно, и, кажется, погружен в глубокий сон. Руки у него не вспотели, хамсин на них не действует. Но дуновение аромата духов Ада пробуждает его. Он отбрасывает панаму на затылок, достает лепешку с маслинами из синего платка, зубы его впиваются в лепешку, глаза – в Ада, проходящую по траве мимо него, к своему дому.

На жилище Ада опустилась дремота безумной жары. Хамсин шуршит в ветвях старого оливкового дерева, ударяющих в окно. Утром, уходя на работу в кухню, она оставила окна открытыми. Солнце, расположившееся на ее постели, заполняет дом тяжелым жаром. Ада опускает жалюзи, включает вентилятор. В комнате становится сумрачно, лишь полоски света пробиваются сквозь жалюзи, отражаясь на стене. Ада бросает письмо Мойшеле на постель и бежит в душевую, охладить пылающее тело. Голой она возвращается в комнату – лечь в постель, подставив себя вентилятору, но в постели лежит письмо Мойшеле. Глаза закрываются сами, она облачается в халат и заплетает волосы в косу. Выглядит она сейчас, как наивная стыдливая девушка. Берет письмо и садится в кресло. Здесь, в доме, далеко от остальных домов кибуца, она не находит никакой связи между желанием украсть письмо Мойшеле и собой. Она даже не хочет узнать то, что в нем скрыто. В одиночестве замкнутой комнаты реальность исче-



зает. Адас погружается в глубины сна, где разум не может ее достать. Только чувства бодрствуют.

В те долгие недели, когда она была погружена в написание писем дяде Соломону, Адас пристрастилась к собственным переживаниям до какой-то не прекращающейся тоски. Все эти переживания выпорхнули из нее, исчезли, когда она открыла все свои секреты дяде. Оставили ее – и Мойшеле, и Рами. Размылись грани между реальностью и сном. Воспоминания затуманились и переживания истаяли. Сначала она не уловила смысл душевного опустошения и пыталась с ним бороться, пока не убедилась в том, что не в силах воскресить прошлое. Оно показалось смутным сном, в котором происходили бессмысленные события. Долгие месяцы она вскакивала по ночам с криком от мучительных снов и не могла больше уснуть. Лежала, вперив глаза во мрак. Тело ее лихорадило, но у этой лихорадки не было никакого имени – ни Мойшеле, ни Рами. Он вся горела, и руки ее блуждали по груди, спускались между ног, словно сама с собой занималась любовью, ласкала каждый возбужденный нерв, сжимала руками каждое пылающее место, но не могла задушить страсть, заглушить желания тела. Вскочив с постели, подбегала к шкафу. Уткнувшись в военную форму Мойшеле, вдыхала запах пота. В этом остром запахе запыленных мужчин пыталась она оживить переживания прошлого, возбудить воспоминания и успокоить тело. С пугающей саму себя страстью набрасывалась на эту грязную, пропитанную потом форму, вдыхала ее запах, и тело восставало против нее. Не в силах овладеть собой, бежала в душевую. Вглядывалась в зеркало, и не узнавала себя. Лицо было чужим. Волосы растрепаны, глаза сверкают. Рот пылает на бледном и напряженном лице. Руки, быстрые и нервные, блуждали в волосах. Тело напрягалось и словно бы росло на глазах. Пыталась причесать волосы и заплести косу, но руки ей не повиновались. Приподняла груди и удивленно смотрела на новую и незнакомую Адас. Одна была – Адас дяди Соломона, кибуца, Мойшеле и Рами, другая – Адас, вдыхающая запах пота военной формы, задыхающаяся от изводящей ее страсти. Накрасила губы помадой, подвела глаза. Среди ночи надела все свои драгоценности, нарядилась в красное свое, ведьминское платье. Закурила сигарету и завела патефон. Танцевала по комнате и подпевала себе, пока не почувствовала усталость. И тут она огляделась, и, не поняв, где находится, упала в кресло Элимелеха и пришла в себя, словно бы отрезвела. Устыдившись, пошла в душевую, смыла краску с лица, но, вернувшись в комнату, боялась лечь в постель. Так и присидела в кресле до утра.

Все эти долгие месяцы ощущала Адас опасность, подстерегающую ее душу. Видела себя канатоходцем над бездной, и не было за что ухватиться. В отчаянии она искала убежище в прошлых воспоминаниях, и могла вспомнить только две встречи – с Мойшеле и Рами. Они только углубили душевные страдания и телесные муки.

Две встречи свалились на нее как одна. Первым явился Мойшеле. Война окончилась. Она страшно обрадовалась, увидев в газете большими буквами заголовок о перемирии. Значит, Мойшеле и Рами вернутся домой, и все прояснится. Завершилась война на истощение, длившаяся тысячу дней, и Адас освободилась от печали. Выводящие из равновесия сны перестали ее мучить. Она ожидала возвращения Мойшеле и Рами, но проходили дни, складываясь в недели, а они не появлялись. И она вновь лишилась душевного покоя.

Стоял жаркий день конца лета. Гора облысела от пылающих лучей солнца. Цветы увядали, трава пожелтела, на деревьях высыхали листья. Все ждали дождя. Иногда в небе над горой проплывали облака, но не роняли даже капли. Сухость обжигала горло. Ветер поднимал сухую пыль, и земля взлетала к небу серыми столбами, моля о дожде.

В полдень дремала Адас, голой. У постели жужжал вентилятор. Дверь не заперла и стук не услышала. Лай собаки вырвал ее из сна. В комнате стоял Мойшеле, держа на поводке огромного, жирного пса-боксер. Адас в испуге закуталась в простыню.

«Привет».

Не ответила, глядя на Мойшеле и его пса, как на привидения, еще больше укутавшись в простыню. Мойшеле не был похож на себя. Она ведь не видела его с начала весны. Он очень изменился. Он похудел и загорел, поэтому глаза казались большими и выцветшими. Джинсы плотно облегли бедра, он казался выше и стройнее. Голубая рубашка расширяла его плечи. Стоял он прямо, держа во рту трубку, и ароматный дым окутывал его лицо мужественным ореолом. Глаза Адаг глядели на него, как на улицу чужого города, ища прежнего Мойшеле. Он растворился в этом серьезном мужчине с четко очерченным лицом. Адаг не отводила взгляда, ожидая, что он подойдет к постели и снова станет прежним любимым Мойшеле. Пес высунул язык, страдая от жажды, и Мойшеле пошел принести ему воду. Адаг быстро одела халат. Движения ее были нервными, тело дрожало. Мойшеле вернулся в комнату и принес воду псу в тарелке из красивого сервиза, подаренного в день их свадьбы. В свое время он берег этот сервиз, теперь принес из него дал пить псу. Глаза Адаг и Мойшеле проследили за языком боксера и встретились:

«Выпьем кофе?»

«Идет».

Сидели на скамеечках перед персидским подносом. Скамеечки и поднос Адаг получила в подарок от родителей недавно. Мойшеле ни о чем не спрашивал, и даже чудесная желтая роза, в тонкой стеклянной банке, поставленная Адаг между чашками с кофе, не привлекла его внимание. Адаг встала на колени, разливая кофе в чашки, и длинные ее волосы коснулись пола. Вдруг она замерла и задержала дыхание. Сидящий рядом с ней чужой мужчина смущал ее.

«Кофе выкипел».

Она наполнила его чашку, села напротив, подтянула короткий халат к коленям, сжимая его полы. Не хотела она приластиться к мужу, видя его оскорбительное равнодушие. Уродливый пес кружился возле него. Мойшеле пил кофе, хрустел печеньем и дымил трубкой. Голос Адаг звучал отчужденно:

«Что слышно?»

«Закончили войну».

«Расстался с армией?»

«Да».

«И что сейчас?»

«Еду за границу».

«Когда?»

«На следующей неделе».

«Куда?»

«В Италию».

«На сколько времени?»

«Посмотрим».

Адаг чувствовала, что этот разговор вызывает у нее недоумение, отражающееся на лице. Эту поездку он собирается совершить вопреки соглашению между ними. Ее решение в отношении его и Рами должно было быть принято с окончанием войны. Но, быть может, он уже решил, и то решение потеряло смысл? Взгляд ее был вопрошающим, и он от него не уклонялся, но взгляд этот как бы его не касался. Адаг была ужасно взволнована. Она не хотела, чтобы он уезжал. Протянула к нему ноги и наткнулась на пса. Нет, не это уродливое животное разделяет их, а отчуждение. Чужим стал ей Мойшеле. Лицом, глазами, запахом табака, отличающимся от запаха его формы в шкафу. Подобрала Адаг ноги под себя и отодвинулась от этого чуждого ее миру человека. В мире ее теней беседуют дядя Соломон и Амалия, и Соломон говорит ей, чтобы она перестала звать Мойшеле «деткой», он уже не детка, а зрелый мужчина. Нет, нет, Мойшеле не стал зрелым, он постарел и стал стариком. Седина пробила в его волосах. Сидит равнодушно, явно не желая женщины. Мойшеле – старик. Рот его занят трубкой, но

руки огромны и сильны. Пальцы длинные, и ногти острые. Руки у него грубые, они привыкли брать то, чего желают, и отвергать то, что им не хочется. Глаза Адаас смотрели на гильзу от снаряда, которую когда-то принес Мойшеле и поставил в угол. В ночь перед кончиной Амалии он пришел домой и принес две задымленные гильзы, чтобы они могли служить медными вазами. В ту ночь он не был с ней нежен в любви, как раньше, а сорвал с нее ночную рубаху, как насильник, сделал ей больно своими объятиями и молчанием, в первый раз вел себя с ней, как с женщиной, а не как с ребенком. Она еще не успела прийти в себя, дрожа всем телом, как он хлопнул дверью, исчез во тьме ночи, и не возвращался к ней все дни этой долгой войны.

Сидела Адаас на скамеечке, и смотрела на руку Мойшеле. Кончилась война, и рука его – на голове пса. Положила и она руку на голову боксера. Руки их встретились, но он не сжал ее руку. Трубка погасла, и он положил ее в пепельницу. Колечко дыма на мгновение возшло над подносом и растаяло. Встала и принесла сигареты. То, что она начала курить, было для Мойшеле новостью, и она надеялась, что он возьмет сигарету из ее рта, чтобы докурить. Не взял. Его равнодушие выводило ее из себя. Положила сигарету в пепельницу, возле трубки. Черное тяжелое дерево и белая тонкая бумага, поедаемая огнем, вызвали в ней давнее чувство, стоявшее преградой между ними: он – большой, она – маленькая, она красивая, а он талантлив. И Амалия провозглашала при каждой возможности, что красота преходяща, а талант вечен.

Погасила сигарету в пепельнице, а Мойшеле взял трубку, и стал ее набивать табаком медленными движениями, подстать медленной его речи. Эта его медлительность весьма подходила к его, можно сказать, торжественному появлению. Все это – трубка, пес, речь его и молчание, облик, жесткое лицо – навалились на Адаас. Для чего он вернулся к ней? Пусть идет ко всем чертям! Он вообще не Мойшеле. Он – Мойше! Старшина десантников, который называл каждого не понравившегося ему молодого бойца – Мойше, и командовал целым батальоном таких Мойше. Рами удивительно подражал голосу этого усатого старшины: «Эй, ты, там, тупица Мойше, поди-ка сюда!» Адаас прыснула, и Мойшеле повернул к ней голову:

«Что тебя рассмешило?»

«Боксер твой смешон».

«Правда».

«Он отправляется с тобой за границу?»

«Не дай Бог».

«Где же ты его оставишь?»

«У Ионы».

Какая еще Иона? Он же ее муж, и все права на него у нее. Даже на этого уродливого пса. Это ее боксер. Что она, с ума сошла? Держать на память это чудовище? Пусть берет своего боксера. Пусть убирается к своей Ионе. Наплевать. Лицо ее изменилось, глаза засверкали, губы сжались. Она покажет ему и его Ионе свою силу. Он продолжал набивать трубку табаком, и тут она увидела глубокий шрам на его ладони. Крепко сжала его руку:

«Что это?»

«Памятка войны».

Рука со шрамом вернулась к трубке, и снова дым обволок его лицо, и Адаас сидела напротив, и отверженная ее женственность снала ей душу. Обида жгла ее, выпрямила ее фигуру. Подняла она голову, выпятила покачивающиеся груди, руки ее прошлись по бедрам, она указала на сигарету, лежащую на подносе, и повелительным голосом сказала:

«Дай огня!»

Губы ее похотливо изогнулись, в лице появилось наглое кокетливое выражение. Она вытянула свои босые ноги, наткнулась на боксера и пнула его. Пес с воем отбежал. Он не запахнула свой короткий халат, а скрестила ноги, меняя их положение – вверх-вниз, глядя их рукой – вверх-вниз.

Мойшеле напрягся. Такой он ее не знал. Он зажег ей сигарету. Подставила ему красивое свое лицо, и он вложил ей сигарету между губами. Вернул трубку на поднос и не отрывал взгляда от Ада. Лицо его заострилось, губы втянулись и почти исчезли. Он пытался скрыть волнение. Втиснул руки в карманы, и сжатые кулаки оттопыривали джинсы. Смотрела Ада на стоящие торчком кулаки и смеялась. Глаза ее блеснули. Закатное солнце бросало на нее блики, подчеркивающие ее бледность, окружая ореолом слабеего света ее распущенные волосы, скользкие по щекам. Рот пылал на ее белом лице. Она сделала шаг к постели, он пошел за ней, но она остановилась. Дорога от его отчужденного молчания до постели не столь коротка. Ада желает прежнего Мойшеле, который развлекал ее любовными играми и всякими поэтическими нашептываниями, а не сразу приступал к делу, как сейчас. Не этот жесткий Мойшеле ей нужен, а муж ее, нежный и любящий. Оба замерли у постели. Когда он попытался ее обнять, она крикнула:

«Я не потаскуха!»

«Ада!»

«Хочешь со мной в постель без поцелуя и даже ласкового слова!»

Она заплакала, как маленькая девочка, которой сделали больно. Мойшеле накрыл ее руку. Большая его ладонь была горяча, как раковина, и дрожащая ее рука успокоилась в ней. Она вытерла слезы волосами. Он обнял ее за плечи и сказал:

«Я не хотел тебе сделать больно».

«Нет».

«Таково положение».

«Таково».

«Ты должна прервать всякую связь с нами».

«С тобой».

«С нами».

Опустила голову. Он раскрыл горячую раковину сжатой ладони, и рука ее выскользнула из нее. Молча стояли рядом и смотрели в окно. Первые вечерние тени сходили с вершины горы. Высокие скалы, подобно острым зубам, вгрызались в густеющие облака тьмы. Мойшеле снова сжал зубами трубку. Табачный дым потянулся к ней, она отступила, и свет заката сосредоточился на ее головке и тек в комнату волнами ее темных волос. Лицо ее, обращенное к горе и небу, очистилось и высветилось печалью. В красоте ее теперь не ощущалось ни капли кокетства. Она улыбалась Мойшеле, и в улыбке ее была глубокая обида, нанесенная его отказом. В эти минуты красота ее была неизъяснимой. Печаль слышна была и в голосе Мойшеле:

«Ты не изменилась».

«Ты изменился».

«Прошел войну».

«Она всему виной?»

«Не во всем ее вина».

Ада прижалась к нему, и он обнял ее. Не страсть, а глубокая печаль связывала их в эти мгновения. Не муж и жена, а две потерянные души стояли рядом, замерев, в тяжкий час расставания.

«Возьми меня с собой».

«Невозможно».

«Почему?»

«Хочу быть один, сам с собой».

«Ты же был один».

«Я был с войной».

«Она же кончилась».

«И я кончился с ней».

«Я могу тебе помочь».

«Ты не можешь мне помочь».

«Почему?»

«Слепой не может помочь слепому».

Адас напряглась в его объятиях, и руки его соскользнули с нее. Он пересек комнату быстрыми шагами и поднялся на мансарду, где временами занимался живописью. Пес пошел за ним. Адас собрала посуду с подноса и понесла на кухню, взялась за кран, но не открыла его. Над потолком, как в прежнее время, слышались шаги Мойшеле. Открыла кран и снова закрыла. И так несколько раз. Посуду не помыла. В зеркало не смотрела. Мойшеле спустился по внешней деревянной лестнице, ведущей с мансарды в сад. Дверь открылась и захлопнулась. Адас не сдвинулась с места. Стояла, замерев, ощущая в голове и в сердце пустоту. Без всяких чувств. Мойшеле позвал ее, и она пошла к нему. Он стоял посреди комнаты с большим чемоданом в руке, в котором она принесла все свои вещи из кибуца. Когда-нибудь, подумала она, он вернет ей чемодан, и сам, быть может, вернется в туманном будущем. Еще немного, и они должны расстаться, может, и навсегда. Голос его приглушенно донесся до нее, словно издалека:

«Он тебе нужен?»

«Бери его».

«Сложим все?»

«Давай».

Она встала на стул, чтобы снять с верхних полок шкафа его зимние вещи, которые посыпала нафталином. Острый запах заставил ее чихать. Слезы выступили на глазах. При этом она не позволила Мойшеле сменить ее. Он не принял ее возражений, обнял и снял со стула. Несколько минут, ощущая его сильные руки на своих бедрах, она парила в воздухе. Таким легким, казалось, как это парение, и было их расставание. Он опустил ее на пол, она вся дрожала. Сказала:

«Спасибо».

«Ты как слон в посудной лавке».

«Так-то лучше».

Поднялся на стул, как бы убегая от нее, и молча подавал ей вещи. Лицо в шкафу, руки выбрасывают оттуда одежду. Одна мысль не давала покоя Адас: «Он разбивает нашу жизнь, и это его не трогает».

Она разбросала его вещи по всей комнате, собирала в чемодан трусы, рубашки, брюки, носки. Складывала и упаковывала все с большим умением, все более нервничая. Он же давал ей указания с высоты стула:

«Все зимние вещи».

«А летние?»

«Меньше».

«Весной вернешься?»

«Кто знает?»

«Сколько у тебя одежды!» «Амалия очень обо мне заботилась».

Голос его при упоминании Амалии изменился, стал глубоким и мягким. Почувствовала Адас, что обозначился небольшой мостик к нему, и решила сделать первый шаг – ведь не может он от нее вовсе удалиться, они как единое целое, вместе с Амалией, Соломоном и Элимелехом, и это целое никогда не распадется, они навсегда вместе, но голос Мойшеле лишил ее надежды:

«Вижу, чемодан забит вещами».

Он спустился со стула и замкнул чемодан. Также замкнулись все ее надежды. Дверцы шкафа остались открытыми, оставшиеся вещи в беспорядке были разбросаны по всей квартире, которая выглядела, как после погрома. Среди вещей топтался боксер, все вынюхивал,

высунув толстый шершавый язык, который раздражал Ада. Неприязнь к этому уродливому псу не давала ей покоя. Мойшеле поднял чемодан, определяя на глаз его тяжесть:

«Уверен, что лишнего веса нет».

Ада смотрела и молчала. Напряжение приближающегося расставания видно было по ее беспокойному взгляду. Мойшеле поставил чемодан у двери, повернулся и сказал мягким голосом:

«Пока».

Словно загипнотизированная, пошла Ада за этим его голосом, но ее опередил пес, и Мойшеле погладил его голову. Мягкие нотки в его голосе, оказывается, были предназначены псу. Обида слышалась в голосе Ады:

«Куда сейчас?»

«К машине».

«У тебя есть машина?»

«Это машина Ионы».

Схватила Ада чемодан, и оба держали его. На миг показалось, что оба тянут его в разные стороны, а пес между ними и поглядывает на них. Глаза Ады перенесли ненависть от собаки на Мойшеле, и она со скрытой неприязнью сказала:

«Пошли».

«Я сам управлюсь».

«Ты уже уезжаешь?»

«Еще немного».

«Ты же ничего не поел?» «Я еду к Соломону».

«Будь здоров».

Подставила ему лицо. Мойшеле легко приложился к ее губам, но она прижала к его рту свои губы, прикоснувшись языком к его зубам. Но он сжал зубы. В последнем отчаянном усилии вырваться из одиночества, избавиться от чуждых ей ночных страстей, прижалась к нему всем телом. Соски ее под тонким халатом встали торчком, и он чувствовал ее груди на своем теле, но он отодвинул ее от себя, и глубокая морщина обозначилась у него между бровей, он приложил ее руку к своему рту и запечатлел некое подобие воздушного поцелуя. Это был странный жест, ясно говорящий ей, что между ними пролегла грань, которую невозможно переступить. Она отпрянула и сказала:

«Чего ты такой, странный?»

«Я только хочу сделать, чтобы тебе было легче».

«Мне?»

«Нам».

И он снова поцеловал ее. Руки его блуждали по ее телу, сильные руки, лишенные сдержанности. Распахнул халатик и поцеловал ее соски. Секунду груди ее покоились в горячих его ладонях. Сверкал взгляд, не отрывающийся от ее глаз, взгляд прежнего Мойшеле, в которых не было ни жесткости, ни сдержанности. Но все прошло, как короткий сон. Исчезли руки, исчезли любящие глаза, и хлопнула дверца.

Лай боксера удалялся и затих вдалеке. Тишина навалилась пустотой, лишенной малейшего звука. Ада замерла во мгле. Халат ее был распахнут. Дрожала на сухом ветру, который подобен был горячим рукам Мойшеле. Добралась до выключателя и зажгла свет. Разбросанные вещи мужа бросились ей в глаза, и она дрожащими пальцами застегнула халат. Руки продолжали дрожать, пока она собирала все вещи в узел и понесла для стирки в душевую. На кресле Элимелеха ветер ворошил листы газеты, занавески взлетали парусами под его порывами, за окном шумело масличное дерево, и голоса из кибуца долетали до нее словно из другого мира. Напряженными пальцами она смяла газету и швырнула на пол, уселась в кресло, смеясь. Слезы текли из глаз. Так просидела допоздна, надеясь, что Мойшеле вернется к ней. Конечно, сидит

у дяди Соломона, курит трубку, пьет кофе и читает письма, которые она ему писала, а ей их возвращали. Наконец-то, он поймет, что творилось в ее душе.

Надежда, что Мойшеле вернется еще этой ночью, уверенно росла в ней.

Всю ночь она не переставала ждать. Каждый шорох за окном и лай собаки вызывал в ней напряжение. С рассветом упала навзничь в постель. Все тело ее болело. Свет нового дня вползал в комнату. Утренний ветер потряс дерево у окна. Кукареканье петуха и мычание коров – как будильник, звона которого она не ожидала. Нарядилась в красивое платье, заплела косу, и пошла на работу, как на праздник. Мойшеле, вероятнее всего, всю ночь провел за чтением писем, сейчас придет в столовую и улыбнется ей, как это было всегда. Но он не явился. Возник Соломон и сказал:

«Доброе утро».

Адас готовила столы к завтраку, и Соломон взял ее за руку и погладил по волосам. Этот его жалостливый жест вывел ее из себя, и она подняла голос на Соломона:

«Где Мойшеле?»

«Уехал».

«Он что, не спал у тебя?»

«Мы расстались вчера».

Опустила голову, повернулась к Соломону спиной, чувствуя его испытующий взгляд. Боясь его жалостливого прикосновения, убежала и спряталась в дальнем углу кухни. Огромные котлы сверкали и пугали, в большой кастрюле бурлило кипящее масло. В печи крутились на вертелах жарящиеся куры. Посудомоечная машина втягивала грязную посуду. И вся кухня была полна паром и шумами. Сквозь эту смесь паров, голосов, острых запахов до Адас долетали обрывки указаний:

«Отнеси вареные яйца в столовую».

Адас понесла корзину яиц. Лицо ее было бледно, как у больного человека. Голова трещала от боли, словно что-то в ней пылало. Это был приступ мигрени, она уронила корзину, и яйца раскатились по полу. Глаза сидящих за столами обратились к ней. Бледное лицо ее покрылось красными пятнами, глаза сверлили взглядом всех окружающих, следили за яйцами, закатывающимися под столы. Она не могла сдвинуться с места. Люди встали из-за столов и собрали яйца. Голос донесся издалека:

«Принеси новые яйца».

Без объяснения Адас убежала с работы домой. Тропа дышала жаром, подметки тонких сандалий жгли подошвы ног. Глаза были ослеплены, сами закрывались, головная боль усиливалась. В сумраке комнаты ей немного полегчало. Проглотила таблетку анальгина. Наливая из крана стакан воды, взглянула на себя в зеркало глазами, затуманенными мигренью, на потное свое лицо и волосы, прилипшие к голове. Села в кресло, в ожидании, что пройдет головная боль. Открыла шкаф, опять увидела себя в зеркале на дверце шкафа, и тут мелькнула у нее мысль: Мойшеле – в доме своего отца, Элимелеха, в Старом городе, в Иерусалиме. Он там, в постели со своей Ионой, светловолосой красавицей. Пряди ее волос рассыпались на его груди. Глаза ее не затуманены мигренью, полны страсти и знания, как овладеть Мойшеле. Им хорошо и радостно, и уродливый пес охраняет вход, высунув язык, с которого стекает пена, противный, вонючий пес. Из-за его вони невозможно зайти в дом Элимелеха. Рассмеялась Адас этому видению, и это был вчерашний смех – расставания с Мойшеле, и от этого смеха ослабела мигрень, и новая мысль высветилась перед ней. Вот, она, сияющая Адас из Иерусалима. Дерзкая и страстная, как Иона. Адас, которой предсказывали быть королевой на конкурсе красоты, смотрит на потную и наивную Адас. Эта Адас до сих пор тратила свою жизнь на Мойшеле и Рами, на Соломона и умершую Амалию, на кибуц и Иерусалим, на отца, и мать, и Элимелеха. Душа ее металась между всеми ими. Но теперь она займется только собой, той самой сияющей девицей. Иона это – будущая Адас.

И Адас почувствовала растущее в ней чувство, отделяющее ее прошлое от будущего, чувство, которое выведет ее из теперешнего состояния. Головная боль почти прошла. Она приняла душ, расчесала волосы, привела в порядок лицо, надела самое красивое и короткое цветное платье, обтягивающее грудь. Долго педантично и критически разглядывала себя в зеркале. Все еще в ней проглядывала кибуцница, все еще она не достигла уровня Ионы, но она этого добьется.

И все же, красавица смотрела не нее из зеркала, почти городская сияющая красавица. Короткое платье подчеркивало изящную фигуру и красивые длинные ноги. Теперь она чувствовала себя достаточно сильной, чтобы бороться с соперницей, взяла сумку и вышла в путь, в Иерусалим, к Мойшеле.

Остановилось такси. Она села. Молодой водитель с большим чубом и наглыми глазами, смешил Адас. Она расслабилась на сиденье, и машина вырвалась на шоссе, продуваемое ветром. Высунула Адас голову в окно, под ветер и капли воды, рассеиваемые в воздухе оросительными установками. Головная боль совсем прошла, и она буквально летела с необыкновенной легкостью вместе с колесами. Язык, прилипший к щеке, освободился, горло увлажнилось. Затем она втянула голову и раскрыла зеркальце, причесала волосы, подкрасила губы, оглядела лицо и осталась довольной. Водитель время от времени поглядывал на Адас.

«Зовут меня Йоси».

Адас быстро посмотрела не него, и снова стала глядеть на равнину. Они ехал по узкому шоссе в долине. Поля стелились по самой обочине, по краю пылающего асфальта. Долгое жаркое лето выжгло до желтизны совсем еще невысокие зерновые. Некоторые поля заросли чертополохом, и не были сжаты. Свежие стебли морского лука торчали белыми свечами в сухих зарослях, возвещая о близящейся осени. Утреннее солнце пробивалось сквозь жаркую пыль хамсина мутноватыми лучами, и пруды не блестели. Но оросительные установки вращали свои длинные крылья, не переставая, и ветер нес капли по воздуху. Трактора волокли плуги по тропам в долину, поднимая пыль. В местах, где уже было вспахано, земля казалась набухшей. Горы, дома, деревья словно росли из вспаханной земли, черной и насыщенной удобрениями. Стадо овец пересекло шоссе, и в машину ударил резкий овечий запах. Машина остановилась. Взгляд Адас не отрывался от животных. Водитель глядел на нее со стороны, облизывая губы. Спросил:

«Как тебя зовут?»

«Не имеет значения».

«Ты красивая девушка».

В машине было душно, и водитель сбросил рубаху, обнажив волосатую грудь, и вытянул, как бы напоказ босые ноги. Овечье стадо пересекло шоссе, оставив за собой черные катышки помета. Водитель увеличил скорость, и опять время полетело галопом. Мир за окнами машины превратился в мелькающие тени, в страну, где нет ни неба, ни земли, ни намека на осязаемую реальность. Это был сошедший с ума мир, в котором Мойшеле заблудился, и Адас мчалась по его следам. Длинный волос стелился по ветру, падал на водителя, и он смеялся, явно получая удовольствие. Одна рука его – на руле, другая – в ее волосах, он ощущает запах молодой женщины. Адас не почувствовала его пальцев в гуще волос. Перед ней лишь мелькали люди, деревья, животные, и здания, и все это были тени, и она не старалась особенно их разглядеть. Она словно бы летела в бесконечные дали. Все ближе и ближе к Мойшеле. Она громко смеялась. Глаза ее блестели ожиданием будущего. Она не знала, где она, и кто этот человек, который несет ее в дали, подобные снам.

Внезапно закрипели тормоза, колеса протаскились по асфальту, и Адас испугалась. Шоссе делало резкий поворот. Водитель засмеялся и положил руку ей на колено. Она очнулась от своих видений. Еще один резкий поворот, и она навалилась на водителя. Он обнял ее за



плечи и обнажил свои белые крепкие зубы. Она освободилась от его объятий и сердито сказала; «Перестарался!»

Острая невыносимая вонь ворвалась в машину, окутала лицо и вызвала слезы. По узким канавам вдоль шоссе текли сточные воды из ближайшей молочной фермы. Машина остановилась на перекрестке узкой извилистой дороги, ведущей к этим фермам, и широкого прямого шоссе, идущего через долину, у огромного здания тюрьмы. По дороге ехала целая колонна грузовиков, везущих сельскохозяйственную продукцию из Галилеи в центр страны, перекрывая выход на шоссе. Сидели молча, в ожидании, и с охранных вышек по углам тюрьмы глядели на них вооруженные стражники. Двойной ряд колючей проволоки выставлял ржавчину в небо поверх стен, и чернели входные ворота. Пространство долин было перекрыто зданием тюрьмы, стенами, колючей проволокой, черными воротами и вонью нечистот. Глаза водителя пронзительно смотрели на Ада, и она прикрыла колени, которые он пытался обнажить. На ее пальце он нащупал обручальное кольцо.

«Замужем?»

«Еще как».

«Может, все же не очень так».

«Не надейся».

«Куришь?»

«Да».

Зажег сигарету, поднес к ее губам, пальцы его коснулись ее рта, глаза сделались требовательными. На миг ей показалось, что это Мойшеле подает к ее рту сигарету, пальцы его прикасаются к ее губам, и Мойшеле смотрит на нее жестким взглядом. Дым их сигарет смешался, голова его приблизилась к ее голове, и волосы, его, пахнущие дегтем, смешались с запахами отхожих вод. Словно издалека услышала она голос:

«Ну что, договорились».

Голос его был дерзок и похотлив, как лицо его и глаза. Ада отодвинулась от него, вышвырнула горящую сигарету в окно, взглянула с подозрительностью на его обнаженную грудь, взвешивая, стоит ли ей выскочить из машины. Внутренний голос остерегал ее от водителя, от его сильных рук. Но желание добраться до Мойшеле одолело предупреждение внутреннего голоса. Колонна грузовиков прошла, и парень снова помчался на большой скорости. Подозрения Ада несколько ослабели. Шоссе проходит между многими поселками, да и забито машинами. Сады и поля по обе стороны шоссе полны работающими людьми, – и что, в конце концов, может с ней случиться между всеми этими тракторами, комбайнами, стадами овец и коров? Она смотрела на долину, полную движения, и забыла про водителя. Внезапно машина свернула с шоссе, и пока она сообразила, они очутились в густой сосновой роще, с небольшим источником и прудом. Она хорошо знала эту рощу, не раз они устраивали здесь пикники. Сейчас здесь стояла пугающая, гипнотическая тишина, сковавшая тело и задержавшая дыхание. В ушах ее раздался смешок чужого мужчины и его взволнованный приказывающий голос:

«Давай, кукла!»

Он сбросил шорты, и грязные его трусы топорщились. Ада прижалась к сиденью и всеми силами уцепилась за руль. Но парень схватил ее, стараясь вытащить ее из машины. Она била его ногами, слыша собственный крик, а он отвечал:

«Что случилось, дорогуша?»

Когда он прижал ее к земле, она почувствовала, как мелкие камни впились ей в спину. Он порвал ей край платья и впился зубами и губами ей в груди. Тяжестью своего тела он душил ее крики. Где-то стрекотал трактор, Дома кибуца мерцали сквозь марево далеко в долине. На склоне горы между скал паслось стадо овец. Пастух стоял на тропе, ведущей по склону в рощу. Все ее ощущения и слух остро воспринимали каждый шорох, но все в отдалении. Весь мир отделился от нее, оставив абсолютно беспомощной. Даже до пастуха не долетали ее крики. Но

именно это одиночество придало ей силы. Внутренний голос подсказывал ей приемы борьбы. С неожиданной для нее самой силой она сбросила парня с себя, ударила в лицо, оцарапав его до крови. Оторопевший парень отпрянул, рука скользнула по ее бедрам, он нащупал щеку, увидел кровь и заорал:

«Стерва, ты что, разогреваешь мужика, чтобы дать ему по морде!»

Почувствовав, что тело его ослабело, она вскочила на ноги и побежала между деревьями в сторону пастуха. Водитель не погнался за ней. Она казалась обезумевшей в этом диком беге, порванное платье и волосы развевались на ветру. Водитель завел машину и скрылся.

Тишина наполнила рощу, и Адас остановилась между соснами. Глаза были полны испуга, лицо искажено, на руках виднелись синяки. Исцарапанные груди болели, раненная душа исходила безмолвным воплем. От грязного липкого пятна между ее ног шел запах мужского семени, и тошнота омерзения докатилась до горла. Окаменев, стояла она, глядя вслед пастуху, который стал двигаться вместе со стадом, пока не исчез в распадке между высокими скалами. Вся округа опустела, без единого признака человека. И только тогда, осознав собственную беспомощность, она заплакала, и стала искать платок, но не нашла сумки. Страх снова накатил на нее. Ведь в сумке были деньги и документы. Сумка осталась у насильника, а там имя ее и адрес. Она побежала по тропе, задыхаясь, упала на камни, встала и продолжала бежать. У пруда, в том месте, где он ее выволок из машины, нашла сумку, и ей немного полегчало. Вымыла в пруду грязь между ног, омыла лицо, в прозрачной чистой воде, начала приходить в себя. Села на камень, заплела косу. Снова ее охватило волнение, и она бормотала:

«Как это я спаслась, как?»

Вернулась на шоссе. Шла между полями, дремлющими поселками, все еще полная страха. Был полдень, и люди отдыхали в этот обеденный час. Стояла на автобусной остановке, и перед ее глазами переливались воды пруда, подобно цветной картине, словно закручивающиеся мелкой рябью воды вели беседу с лучами солнца. Дневной свет ослеплял Адас, впиваясь стрелами в голову, которая опять заболела. Обратила глаза к небу с молитвой к милосердному Богу, который спас ее в эти последние часы. Но взгляд ее наткнулся на самолет, который распылял удобрения над полями. Опустила глаза на раскалившуюся в полдень долину, стояла между тишиной окружающего мира и все еще не успокоившимся биением сердца, между громом самолета и эхом этого грома. Затарахтел приближающийся автобус, и дрожь прошла по ее телу, холодный озноб в разгар хамсина. Так она и въехала в Иерусалим.

В переулке, где жил некогда Элимелех, заключенном между широкими и шумными улицами, кажется, время застыло. Выросшие вокруг высотные здания поглядывают на старый переулок, словно желают вернуть молодость в горячем ритме нового Иерусалима. Переулок Элимелеха залег в одиночестве, и, забывшись в дремоте, плетет вязь плетущихся своих дней, пыль садится на невысокие разрушающиеся домики и покрывает стариков, сидящих у входов, словно бы они в этот миг возникли из давно исчезнувшей жизни. Пыль делает серыми даже стаи кошек, копошащихся у раскрытых мусорных баков.

Пыль эта вызывала раздражение в горле и носу Адас, вдобавок к острому запаху поджаренного на сковородах подсолнечного масла, висящему над переулком. Все эти запахи вместе создавали один специфический запах переулка Элимелеха, запах серо-голубого цвета, и невозможно было отделить запах от цвета. Даже деревья были пропитаны этим запахом и цветом, деревья причудливых очертаний, выглядывающие из-за невысоких домов, главным образом, остановленные в росте смоковницы. Лишь стаи птиц галдели, нарушая дремоту переулка.

Идет Адас между домами, стариками и кошками, усталая, голодная, несчастная, страдающая от жажды. Она торопится к Мойшеле, и коса ее прыгает над едва прикрытым разрывом платья. Лицо ее печально, темные круги у нее под глазами, и она вовсе не выглядит городской и сияющей голубкой с какого-либо конкурса красоты. Камни мостовой стерлись в течение времени, шаги по ним легки, но стук сердца Адас отзывается громом в ушах.

Ветхая калитка открывается без труда. Во дворе, между скульптурами, высеченными Элимелехом из камня, на веревке развешано белье. Хамсин поигрывает мужскими трусами. Постучала в дверь, и незнакомый голос пригласил ее войти, не спрашивая, кто это. Тяжелая дверь раскрылась также без труда. Адам замерла на пороге. В комнате царил сумрак, и незнакомый ей мужчина лежал в постели. Рядом с ним лежал знакомый пес-боксер, и рука человека поглаживала его по спине. Пес залаял, человек приподнялся и посмотрел на Адам:

«Ты – Адам».

«Ты меня знаешь?»

«По рассказам».

«Где Мойшеле?»

«Уехал».

«Когда он вернется?»

«Не знаю».

«Сегодня?»

«Не думаю».

Парень зажег лампу на тумбочке, у постели. Слабый свет очертил его симпатичное лицо, которое глядело на Адам одним глазом, большим и голубым. Поверх глаза виден был высокий лоб, над которым петушиным хохолком курчаво вились светлые волосы. Рука его держала на поводке пса, и он сказал, глядя в стенку:

«Меня зовут Иона».

Адам опустилась в кресло и долго смеялась. В лице парня что-то сдвинулось, он выглядел удивленным, отпустил поводок. Боксер бросился к Адам и положил передние лапы ей на колени. Он оттолкнула его, закричав, и парень позвал пса:

«Кишта!»

Пес убрался, Адам поднялась с кресла и перестала смеяться. Парень настороженно смотрел на нее. Может, она оскорбила его своим истерическим смехом? Как объяснить ему, что смеялась она так, ибо душа ее исходила слезами? Кто он вообще? Один из многих, тянущихся хвостом за Мойшеле, потому что он любит друзей – мужчин. Сказала, извиняясь:

«Тебя удивил мой смех?»

«Точно».

«Из-за Мойшеле?»

«Что, из-за Мойшеле?»

«Когда он говорил мне о тебе, я решила, что ты девушка».

Тут он повернулся к ней всем лицом. Извиняющаяся улыбка появилась на ее губах. Щека, которую он до этого момента скрывал от нее, была обожжена и пересечена шрамом. Только полные губы соединяли две половинки лица – красивую и уродливую. Смотрела на него Адам в страшном смущении, не зная, куда себя деть. Он улыбнулся, провел здоровой мускулистой рукой по раненой щеке, сказал:

«Обычный египетский снаряд».

«Ничего страшного».

«Кто сказал, что это страшно».

Глубокий его бас связывался лишь со здоровой частью лица и голубым глазом. Адам опустила глаза, и пальцы ее перебирали длинную косу. Свет лампочки окружал ее ореолом, и синяки на ее руках, и царапины на шее умаляли ее красоту. Друг Мойшеле смотрел на нее с большим вниманием, и спросил:

«Дорожная авария?»

«Почти изнасилование».

«Ехала попутной?»

«Да».

«Что-то с тобой случилось?»

«Ему не удалось».

«Ну и отлично».

Попыталась снять смущение легким смехом, но ничего у нее не вышло. Пришли слезы. Долго сдерживаемое чувство обернулось плачем. Он приблизился к ней и коснулся рукой разорванного на груди ее платья. Он понял ее испуганное движение, и сказал:

«Сейчас для тебя важнее всего стакан горячего кофе».

«Помоги мне».

«Моя кофеварка помогает всегда».

Он пошел в кухню широкими уверенными шагами. Энергичный парень этот друг Мойшеле. Комната словно бы опустела, и Адас смотрела на дверь, за которой он исчез. Затем глаза ее стали осматривать комнату Элимелеха. Ничего здесь не изменилось с того момента, когда она была в этом доме с дядей Соломоном. Мойшеле ни разу ее не привел сюда, и не показал ей нарисованные им в детстве на окнах раковины. Запах застарелой пыли на вещах опал лицо Адас. Две кровати, покрытые арабскими коврами, низенькие скамеечки, на письменном столе скрипка и чернильница с давно высохшими чернилами. У стен – странной формы скульптуры Элимелеха. Животные и люди, вырезанные из древесных корней. По углам паутина, старая метла и пара ботинок без шнурков, и от всего несет специфическим запахом переулка Элимелеха, только, что серо-голубой цвет здесь, в комнате обрел желтый оттенок.

Адас чувствовала, что Мойшеле стоит рядом, проводит рукой по синякам и царапинам, и даже ощущала боль от его прикосновения. Мойшеле смотрит на ее разорванное платье, и запах мужчины, который надругался над ней, доходит до него. Он отворачивает от нее лицо, движется к скульптурам Элимелеха, тонет в облаке желтого света и исчезает. Раздается звук скрипки, брошенной на столе, звук расставания с Мойшеле, от которого остался лишь желтый свет, и пыль, и омерзительный запах, идущий от ее тела.

«Можно помыться в душе?»

«Пожалуйста».

Иона принес полотенце и положил на ее плечо. Вел себя, как беспокоящийся и заботливый отец. Больше не старался скрыть от нее раненую щеку. Его доброе настроение и сердечность покорили ее. Все было естественно и понятно, и он сказал:

«В этом доме все наоборот. Из голубого крана идет горячая вода, а из красного – холодная».

В душевой – зеленые пятна плесени на стенах и потолке. Смешались все запахи – плесени, мыла для бритья, влажных полотенец, грязных носок и кофе – из кухни. Горячая вода хлестала прямо из трубы, приятно обдавая струями все тело. Она даже язык поскребла и промыла водой. Вытерла полотенцем всю себя, взяла платье, увидела омерзительное грязное пятно, отшвырнула, в отчаянии огляделась и увидела в углу военную форму, вероятнее всего, Мойшеле. Надела гимнастерку и утонула в ней до самых колен. Затем закатала рукава, расчесала волосы, увидела себя в зеркале в том самом серо-желтом свете переулка, и стало ей легко на душе.

Вошла в комнату, легла на постель, и пес кружился возле нее. Адас любила животных, но этого пса Мойшеле ненавидела всей душой. А теперь положила руку на его спину, почесала его затылок и почувствовала, что примирилась с ним. Голос Ионы из кухни словно бы смешался теплом, идущим от боксера.

«Сколько сахара?»

«Одну ложечку».

«Я тоже кладу одну».

Вернулся Иона из кухни, окутанный запахом кофе, и в руках его кофеварка, чашки, лепешки, маслины и сыр. И нес он это все как жонглер.

Увидел ее, лежащей в гимнастерке, и сказал:

«Моя форма тебе подходит».

«Твоя?»

«Чему ты так удивилась?»

«Что ты в армии».

«Я – штинкер».

«Кто ты?»

«Не знаешь, что в армии так называют тех, кто служит в разведке?»

«Откуда я могу знать?»

«От Мойшеле».

«Он мне ничего не рассказывает».

«Такой он».

Иона разложил на скамеечке еду, налил кофе в чашки и приготовил ей лепешку с сыром. Все это он делал молча, не отрывая взгляда от ее босых скрещенных ног и влажных волос, обрамляющих ее лицо. Так и сидел на скамеечке у постели, и аромат кофеварки заполнял пространство между ними. Сидели они, отрезанные от мира, за плотно закрытыми окнами, рисунками, в желтом свете лампочки, усиливающей красоту Ада. Иона смотрел на нее, не отрываясь, и не притронулся к кофе.

Вот, она, сидит напротив него, как романтическое приключение, еще более красивая, чем рисовалась в его воображении по рассказам Мойшеле, и красота ее воплощает всё, что дано было ему в прошлом, до того, как египетский снаряд изуродовал ему лицо. И, быть может, говорит он в душе своей, можно жить во имя такой красоты, сидеть на скамеечке и смотреть издали на красивую женщину, и ощущать горячее чувство счастья. Сидя, он повернул к ней уродливую сторону лица, чтобы не видела в здоровой половине его возвышенную душу, но она ощущала его волнение по чашке, которая дрожала в его руке, обхватила свою чашку двумя руками и сказала:

«Кофе просто чудо».

«Я говорил тебе».

Голос солдата дрожал, и он повернул к Ада все свое лицо. Удивление и обожание сверкали в голубизне его глаза. Он и ни скрывал этого, и она спросила его в смущении:

«Ты холост?»

«Как раз женат».

«И живешь здесь?»

«Решил идти своей дорогой».

«К Мойшеле?»

«Мы друзья».

Молчали. Кофеварка опустела, лепешки были съедены, и крошки рассыпались в постели. Иона отодвинул посуду, и они сидели близко друг от друга, лицом к лицу, она на постели, он на скамеечке. Он обнял ее ноги, и она положила руку на дрожащее тело пса. Страдания тяжелого этого дня словно бы отдалились от нее. Смотрела на Иону, и облик его сливался со скульптурами Элимелеха, лицо – с раковинами, нарисованными рукой Мойшеле. Оба они, Ада и Иона, словно бы плыли по невидимым волнам, которые текли между ними и уносили их в неизвестную даль. Иона здесь гость, и она здесь гость, а хозяин дома – Мойшеле. Может, он вернется сюда ночью? Страх снова закрался ей душу. Ни за что не хотела видеть его после этого тяжелого дня. Эта ночь – ночь Ионы. Но надо встать и уходить, и так ей этого не хотелось. Испугано посмотрела на часы. Уже шесть вечера.

Иона проводил ее взгляд, и тоже испугался. Только бы она не ушла! Как заставить ее остаться? И вечер, и ночь, и завтрашний день, и вовсе не для того, чтобы она встретила с Мойшеле. Только бы не ушла! Как он останется в одиночестве после этого тепла, которое

пробудила в нем ее красота, заставив забыть горечь своей судьбы? Впервые после ранения он ощутил свободу, которую несло ему его уродство, свободу отталкивающей его внешности. Он может ей сказать все, что хочет только потому, что он такое чудовище. Он мог говорить обо всем, даже о том, что хотел бы ее любить. Все равно ведь она никогда не будет ему принадлежать. Эта женщина вне его жизни. Если она даже захочет его, не доберется до него. Он свернулся в своей уродливости, замкнут в своем мире калеки. Осталась у него лишь свобода открыть рот. И слова сами вышли из его уст:

«Останься».

«Я должна идти».

«Почему должна?»

«Должна».

«Из-за Мойшеле».

«Из-за этого тоже».

«Он ни в чем не будет нас подозревать».

Она поглядела на него в изумлении. Голубизна глаза была влажной и полна была ее обликом. Она словно бы окунулась в этот любящий взгляд, и не могла от него оторваться. С большой печалью сказала:

«Правда в том, что я и не хочу встречаться с Мойшеле».

Встала. Высокая и тонкая ее тень обрисовалась на полу, отогнав желтый свет лампочки. Иона обнял рукой эту тень, и оба следили за их обнявшимися тенями. Он не скрывал своих чувств и взглядом пытался ее остановить. Но она уже пошла в душевую и вдруг закричала:

«Что мне делать?»

«Что случилось?»

«Платье мое абсолютно грязное».

«Купим новое».

«У меня ни гроша».

«Деньги это не проблема».

«Я тебе верну».

«Мойшеле вернет».

«Не смей ему рассказывать!»

«Ладно».

«Я верну тебе эти деньги».

«Все будет в порядке».

Она вернулась из душевой в грязном изорванном платье, прикрыв косой разрыв на груди. Стояла посреди комнаты и не приближалась к двери, которую заслонял Иона своим огромным широким телом, готовый сделать все, чтобы ее не отпустить, и даже уверить ее, что будет жить лишь ради нее. Вместе с тем, он знал, что не остановит ее и жить для нее не будет – она пойдет своей дорогой со своей красотой, а он останется здесь, одинокий и пришибленный. Подал ей сумку и сказал:

«Положил тебе в сумку немного денег».

Вместе дошли до ворот, стояли, оглядывая каменные фигуры Элимелеха, перекидываясь незначашими словами. Темнота скрывала их печальные лица. Сошел вечер, проглотил пыль со стен и прикрыл трещины старых домов. Сумрак, подобно волшебнику, вернул переулку чары его древности. Иерусалим вокруг словно бы и не прикасался к ним. Светящиеся рекламы подмигивали издали, из другого мира, в эту старость, вовсе им не желанную, и шум проспекта, проходящего совсем рядом, тоже казался смутным и далеким. Одиноко стояли они в безмолвном переулке, где звучал лишь голос Ионы:

«Еще немного, и вся магазины закроются».

«Ну, и что?»

«Платье».

Он легко прикоснулся к ее локтю, она кивнула головой. Пожали друг другу руки, и она пошла своей дорогой, оставив его стоять у ворот. Сандалии ее постукивали в тишине переулка. Остановилась на миг и повернулась к нему. В темноте помахала ему рукой, и он ответил ей тем же жестом, но оба не различили этих движений. Сразу же ускорила шаги и скрылась за поворотом, а Иона стоял еще битый час, вглядываясь во мрак, проглотивший Адас.

Вынырнула она из темноты и попала в другой мир. Ее окружали высокие здания, ослепляющие множеством огней, роскошные магазины, толпы текли по тротуарам и машины потоком ползли по мостовой. Центральная улица Иерусалима. Зашла Адас в небольшой магазин одежды. Выбрала белое платье и купила его. Свое же, грязное и разорванное, оставила в примерочной кабинке. Приближалось время закрытия магазинов. В витрине одного из дорогих магазинов приглянулось ей красное платье весьма смелого покроя с глубоким вырезом, отличающее красноватым оттенком меди. Разглядывала она ее, говоря в голос:

«Это мое новое начало».

Мойшеле начал новую жизнь с отъезда за границу, она – с этого платья устремится к сияющей, городской Адас. Вошла в магазин, но продавщица не хотела снимать платье с витрины, ибо время приблизилось к семи. Адас настаивала, и тут чей-то голос пришел ей на помощь:

«Принеси ей это платье».

Курчавый молодой человек с черными глазами смотрел на нее. Их отражения взирали на них из окружающих зеркал. Парень улыбнулся ей, и она ответила ему улыбкой. Когда, надев платье, Адас приблизилась к большому зеркалу, он уже стоял возле него. Платье прилегало ее телу и настолько выделяло фигуру, что Адас почувствовала себя обнаженной перед мужчиной. Плечи ее были открыты, и платье держалось на шее тонкой тесемкой. Оно было настолько узким, что только длинный разрез сбоку позволял ей двигаться. Глаза парня, в изумлении ошупывающие взглядом ее фигуру, встретились с ее глазами в зеркале, и он сказал:

«Сандалии не подходят».

Сбросила сандалии и почувствовала подошвами ног мягкость ковра. Приятен ей был взгляд парня, который откровенно выражал восхищение:

«Позвольте мне».

Он взялся за ее длинные волосы. Руки его были осторожны, но лицо решительно и глаза дерзки. Расплел косу, и тотчас из зеркала на нее взглянула новая и совсем другая Адас: прекрасная женщина, госпожа, с высоким лбом и узким лицом, сверкающие глаза которой сливались с блестками платья. Хотела улыбнуться этой женщине в зеркале, но не решилась, боясь нарушить новый лик каким-либо движением. Приказывала госпожа Мойшеле приблизиться к ней и поцеловать ей руку, и он коснулся губами ее пальцев. Хозяин магазин суетился вокруг нее, пользуясь, то тут, то там скрепками, затем разогнулся, оглядел Адас как некое свое произведение и сказал:

«Фантастика!».

Рука его скользнула в зеркале по ее фигуре. Испугалась, увидев перед собой лицо водителя в роще, у источника, глаза его, требовательные и страстные. Хотя глаза молодого человека и руки его, касавшиеся ее обнаженных плеч, должны были ей помочь совершить бросок в желаемый ею мир, она вдруг осознала, что магазин пуст, она одна с мужчиной, руки которого на ее плечах, и совсем потерялась от страха. Нажал парень на ее плечи, усмехнулся, указал на синяки и сказал, подмигнув:

«Муж или любовник?»

Адас быстро освободилась от его рук, убежала в кабинку, тяжело дыша.

Теперь она знала, что никогда не бросится в новую, другую жизнь, не будет плыть по бурным волнам, а останется навсегда в замкнутом своем мире. И, словно сдавшись собствен-

ной судьбе, опять облачилась в скромное белое платье. Красное, лишенное стыда, переливающееся блестками платье перебросила через руку. Хотела вернуть ее хозяину магазина, но тут же взбунтовалась, и решила, что не отступит и не смиритесь, а развернет паруса и поплывет по иному морю в иное место. Выйдя из кабинки, протянула с холодным высокомерием отливающее медью платье молодому человеку и потребовала завернуть покупку. Вышла на быстро пустеющую улицу. В ночном небе рассеивались облака хамсина, выпали звезды. Изящная и хрупкая, грустная и замкнутая, шла Адак к дому своих родителей.

Смотрит Адак на дверцу шкафа. Висит рядом с военной формой Мойшеле, платье, отсвечивающее медью, платье тяжких ее ночей. Закрывает объемистое письмо своего мужа дяде Соломону. Напряжение сна на грани пробуждения виснет между тенями, заполняющими комнату, и тишина вокруг Адак враждебна.

Ушел Мойшеле, пришел Рами.

В тот день, прежде чем она встретила его во дворе кибуца, прокрался Рами в ее мысли. Осенние хамсины были тяжелыми, замедляющими ритм жизни. Даже раскаленный ветер дул, казалось, с трудом. Казалось, даже горы молились о пощаде и просили первого дождя. С утра небо было покрыто туманом, но к обеду облака рассеялись. Это была первая осень без Амалии.

Удушье и сухость затрудняли дыхание, и Адак без конца пыталась откашляться. Соломон сидел напротив нее в кресле. Последние лучи солнца исчезали за горой, оставляя на стенах комнаты пятна размытого света. В эти часы двор кибуца наполнялся шумом голосов. Семьи располагались одна рядом с другой на траве, пили кофе, жевали печенье и пироги. Из транзистора доносилась песня, голос ребенка смешивался с лаем собак, трещал трактор, и мотор автомобиля отвечал ему сердитым баритоном. Из всей этой смеси звуков возник один ясный голос, заглушил речь Соломона, и Адак перестала слушать дядю. Женский голос рассказывал кому-то о числе «три», которое подчинило себе чью-то жизнь:

«Шула, которая живет на улице Третьей, в доме номер три, была незамужней до тридцати трех лет. Поехала Шула в Канаду искать жениха, встретила там холостяка-израильянина сорока трех лет, они полюбили друг друга, поженились, вернулись в Израиль. И теперь они проживают по улице Третьей, в доме номер три...»

Обернулась буква «Т» подобием вил, приподнявших Адак, и тут же изменила конфигурацию, превратившись в одну долгую линию, подобно столбу, несущему электрические провода, видимому в окне Соломона. Адак посмотрела на верхушку столба, где провода были подобны воздушным мостикам, затем перевела взгляд вдаль, пока не увидела дум-пальмы, и тут возник голос Рами:

«На нас троих положил глаз наш командир отделения. На Эрана, потому что он чемпион по боксу среди молодежи команды «Апоэль» в Натании, а командир отделения не любит мускулистых парней. На Мойшеле, потому что он – Мойшеле, и даже на офицерских курсах не перестал быть Мойшеле, и я – потому что все добрые вещи идут по три».

Сидели они тогда под этой пальмой, с овцами. Она, уставшая от любви и полдневного жара, дремала, прижавшись к Рами, чуб которого и борода были растрепаны, волосатая грудь – обнажена. От тела его шел запах овец. Она рассмеялась и сказала:

«Можно представить тебя козлом в стаде».

Тут же он начал рассказывать о Мойшеле. Так он всегда вел себя с ней. Как только она заостряла свои сравнения, он тут же мстил ей историями о Мойшеле, словно вызывая его дух в тот момент, когда она всеми силами стремилась его забыть.

«Нас троих командир отделения третировал при любой возможности, а Мойшеле больше всех. Однажды зимой вернулись мы с маневров, ноги стерты до костей. Мойшеле прохватил понос, и он окопался там, где можно было окопаться, а командир отделения за ним, и оба в одной уборной, говорят между собой через щели в перегородке. Командир отделения орал, что



Мойшеле убежал, хотя не было команды – «Разойдись». Наказал. Всю ночь Мойшеле стоял у столба, как распятый Иисус».

«Его что, привязали к столбу?»

«Ну, ты уж совсем. Только приказано ему было петь всю ночь».

«Всю ночь!»

«Нечего тебе беспокоиться, малышка. Несмотря на его пение, мы все заснули».

«И ты не пришел ему на помощь?»

«Ему на помощь? Если бы даже посадили меня на верхушку столба, я бы тут же заснул».

«Добрая душа».

«Жалеешь Мойшеле?»

«Представь себе».

Замолк голос за окнами Соломона. И звучавший в памяти голос Рами замолк. Сумерки сошли на кибуц, и темнота в комнате Соломона сгустилась. Отвела Адамс взгляд от столба и вернулась к речи Соломона, голос которого был медлителен, подобно каплям из плохо закрытого крана. Битый час она слушает его. Кофе выпила, и пора ей встать и уйти. Но надо же идти туда, где на кресле лежит красное платье. С момента, как она вернулась из Иерусалима, не прикасалась к нему. Перестала следить за собой и ходила непричесанной. Не ускользнула от ее внимания враждебность членов кибуца после того, как она внезапно оставила работу в кухне. Вернулась-то она на следующий день, но не отвечала на бесчисленные вопросы, касающиеся ее странного поведения. Из-за упрямого ее молчания не нашелся ни один, поддерживающий или защищающий ее, за исключением дяди Соломона. Он верен ей, и дает ей мудрые советы:

«Забудут, детка. В кибуце все забывается. И хорошее и плохое».

Негромкий голос и любящие глаза дяди отделились от нее, не касаясь ее ни словом, ни взглядом. Со дня, как она сбежала из кибуца в Иерусалим, и затем вернулась, она замкнута в каком-то, можно сказать, бесхозном пространстве, где нет ни Адамс, ни иного человеческого существа, никого и ничего. Равнодушна она ко всему, глуха к окружению. Ни испытывает обиды или ущерба ни от какого-либо чувства или боли. В этом пространстве нет Мойшеле, нет насильника, нет ничего. Единственный Рами, соблазняющий и велеречивый змей, тайно проскользнул в травах и ворвался в ее запертый сад. Но она вырвалась из его объятий и вернулась в то свое привычное одиночество. И взгляд ее скользил по стене, дошел до старого глиняного кувшина Амалии, остановился на нем. Голос Соломона теперь раздавался из него, как колокол, который утонул в глубине кувшина, и сейчас доносится до нее смутными звуками.

«И я как-то так вот встал и сбежал. Но, что верно, то верно: не из-за этого на меня сердились в кибуце. В те дни бегство из кибуца было нормальным явлением. Убегали, возвращались и снова убегали. Никто никого за это не обвинял. Сердились на меня за то, что я ушел искать Элимелеха».

«Ты сбежал, чтобы найти Элимелеха?»

«Именно».

«Тебе это просто так захотелось?»

«Ну, не просто так, детка, ни в коем случае просто так. Я тоже был сторожем в ту ночь. Четвертинка луны как-то уж очень печально светила. Небо было черным, как пропасть. Кибуц в те дни составляли всего лишь несколько палаток и барачков. Окружены были забором и настораживались при каждом легком шорохе. Слышится кашель, и все знают, кто это кашляет. Скрип кровати, и всем известно, кто скрипит. В те дни еще слышали дыхание кибуца. И я один в этом квадратном дворе, в центре которого заросли с гнездом голубей. Вот, ребенок заплакал. Тогда у нас родились первые дети. Пошел я к детскому барачку, осветил плачущего ребенка фонариком. Я очень любил наблюдать за их такими естественными движениями, любил сгустившиеся запахи в детском барачке. Запах роста, запах полей и земли, впитавших

пот. Это присутствие в детском бараке ночью было для меня как день работы в поле. Это было и вправду чудесно».

«Что же так чудесно в дневной работе в поле?»

«Детка, я любил взрыхлять бороздами старую и сухую землю, я видел Бога в отвалах этой земли, словно история народа свернута в них. В этих пластах я видел тайны мира, следы человека, которые стерлись, и клады человеческого опыта, которые забыты. Древняя земля, детка, открывшись заново, свежими отвалами, словно бы возвращается к своей девственности. И я, Соломон, пахарь, рассекаю ее...»

«Рассекаешь девственницу?»

«Ну, детка!»

«Не хочешь мне рассказать об Элимелехе?»

«Хочу».

«Почему его выгнали из кибуца?»

«Он отличался от всех».

«Из-за этого?»

«Из-за этого и я убежал в ту ночь, когда все вокруг ныло, выло и стонало, младенцы, шакалы, собаки. Четырех щенков родила худая сука. Не было еды для людей, где найти ее для собаки и ее щенков. Голодные, они выли, разбудив голубей в зарослях, и те тоже подали голоса, и ночь всполошилась мычанием коров, кудахтаньем кур, завыванием собак. На востоке уже возникла светлая полоса, и я стоял среди всего этого воя, глядя на кибуц, и думал: что здесь происходит? Что весь этот шум и вой – утренняя молитва или просто шум грубого скота?»

«И тогда ты замкнулся в себе?»

«Нет, детка. Тогда пришла Голда».

«Голда!»

«Голда. Чего ты так удивляешься? Она работала на пасеке. Как раз в это время пчелиная матка отложила яйца, и нуждалась в подкреплении ко времени приближающегося цветения. Я пошел помочь Голде. Поднял крышку улья, налил из бутылки в корытце жидкий сахар. Я не мог доказать свои добрые намерения даже пчелам».

«И Голде тоже?»

«Но я же говорю о пчелах. Эти дуры подозревали меня в плохих намерениях, злились и шумели».

«Что ты сделал Голде, дядя Соломон?»

«Что ты так упрямисься с Голдой, детка? Я говорю о пчелах, которые, в конце концов, поняли меня, кружились вокруг корытца, и их жужжание показывало, что происходит в улье. Молодая матка откладывает яйца».

«Голда была тогда молодой девушкой?»

«Опять Голда. Все мы были молодыми, и пчелы тоже. Постаревшая матка яиц не кладет, пчелы молчат. Никакого жужжания. Но в ту мою ночь...»

«В твою ночь с Голдой».

«Если ты так хочешь, в ту мою ночь с Голдой, пчелы не молчали. Они шумели и волновались, и волновалось мое сердце. Занялась заря, гора нахмурилась, кладя тень даже на восходящее солнце. И я, и Элимелех – никак не могли смириться с восходом солнца над нашей лысой горой. Всегда нам снилось, что солнце на земле Израиля всегда восходит над водами Иордана, сея свои лучи по всей стране. Это была наша мечта еще там, в далекой Польше».

«Большими мечтателями вы были».

«Да, большими мечтателями».

«Чудесно было вам»

«Какое там чудесно? Чего стоили мои мечты без Элимелеха?»

«Но ты же был с Голдой?»

«Может, оставишь уже в покое Голду? Она закончила свою работу, а я – свою, и ходил по двору кибуца, как потерянная душа. В читальном зале горела керосиновая лампа. На фоне зари барак этот казался старой синагогой, в которой сидят молящиеся. На миг показалось мне, что среди них сидит Элимелех. Ворвался я в барак, а там – ни молящихся, ни Элимелеха. Погасил я лампу, и сбежал».

«От чего ты сбежал?»

«Сбежал. Просто был пролом в заборе рядом с баракom, я и протиснулся в него. Бежал в поисках Элимелеха, и не нашел его».

По голосу чувствовалось, что Соломона охватила тоска по давно потерянному другу. Адаc опустила голову, отняла пальцы от пустой кофейной чашки, сидела неподвижно. В комнате стояла темнота, но Соломон не встал, чтобы зажечь свет. Адаc закашлялась, и кашель этот освободил их горечи и молчания:

«Приготовлю тебе чай».

«Я должна идти к себе».

«Сегодня есть кино»

«Не для меня».

Соломон не приготовил чая, Адаc не встала с кресла. За окнами зажглись фонари. По асфальтовым дорожкам шли члены кибуца к лужайке, где будет показано кино, несли с собой стулья и одеяла, весело переговариваясь. Четверг, вечер кино, – самое большое развлечение в кибуце. Голоса ворвались в комнату, но даже не коснулись Адаc и Соломона. Она подвинулась в самый уголок дивана, словно желая совсем исчезнуть. Ветер раскачивал фонарь за окном, и полосы света колебались на ее лице. Сидела и ждала, когда начнется фильм. Двор опустеет, и она сможет выйти. С момента, как она сбежала в Иерусалим, Адаc старалась не встречаться с людьми из кибуца. Голоса смолкли. Адаc встала с дивана, намереваясь уйти. Дядя Соломон остановил ее:

«Садись, поговорим».

«Уже сидела».

«Детка, мне надо с тобой поговорить».

«Пожалуйста».

«Оставь эту работу на кухне».

«Ну, и что с этого».

«Вернись пасти скот».

«В каком мире ты живешь?»

«Что ты имеешь в виду?»

«Ведь продали все стадо».

«Не знал».

«Теперь я ухожу».

«Посиди еще немного».

Соломон зажег свет. Адаc зажгла сигарету. Донеслась до них музыка фильма. Соломон прокашлялся, сдвинул брови, пересел с кресла на диван, рядом с Адаc, положил руку ей на плечо, от чего все тело ее напряглось. Но она не отодвинулась от него и не сняла его руки со своего плеча. Голос его дрожал:

«Детка, я предлагаю тебе нечто, что мне предложить нелегко».

«Что?»

«Ты должна покинуть кибуц».

«Здесь все кончено».

«Ты здесь просто несчастна».

«И куда я пойду?»

«В Иерусалим».

«Я должна подумать, дядя Соломон».

Адас отвернулась от него, и посмотрела на кувшин Амалии. Соломон замолчал, не сводя с нее глаз. Сигарета погасла, но она не зажгла новую. Звуки фильма продолжали доноситься с улицы. Вошел месяц, подглядывая в комнату. Опять ее взгляд остановился на верхушке электрического столба, где восседал Рами и сообщал с высоты: что бы не случилось, кибуц я не оставлю.

Дядя взял ее руку в свою, и она почувствовала тепло раковины, широкую ладонь Мойшеле, и сказала, как бы не обращаясь ни к кому, в глубину комнаты: «Ушел Мойшеле».

Освободила руку из ладони дяди Соломона, встала и ушла, захлопнув дверь.

Она бродила по пустынным дорожкам. Фильм продолжался, звуки его заполняли пространство, а она старалась отдалиться от людей и от звуков. Вышла во двор кибуца, приблизилась к воротам. Зашумела машина на шоссе, свет фар ослепил ее, захлопнулась дверца. Рами стоял перед ней. Возник из темноты ночи и поразил ее, как молния. Она пыталась поверить, что это он, и не верила глазам своим. Перед нею стоял капитан Рами, в форме, с оружием, рюкзаком и бородой. Темнота обнимала его и делала столь же темной его бороду. Адас смутно различала его, но ясно слышала его уверенный, чуть дрожащий от волнения, голос:

«Привет, малышка».

«Привет».

«Что слышно?»

«А у тебя?»

«В лучшем виде».

«Ну, а так».

«Тянем лямку».

Убрал Рами машину с шоссе, и они пошли в сторону дум-пальмы, между рыбными прудами. Шли и молчали. Казалось, торопились к памятному им месту в полной темноте. Облака обложили небо, скрыли луну и звезды. Фонари кибуцев светились на холмах, плывя кругами огней в глубинах сумерек. Ночь распростерлась над просторами. Адас и Рами исчезли в этой мгле, которая сгустилась именно благодаря тем цепочкам дальних огней на холмах. Они шли, пытаясь разговаривать. И Рами сказал:

«Что ты искала у ворот?»

«Просто так».

«Не пришла ли встретить меня?»

«А ты пришел ко мне?»

«Пришел».

Опять молча продолжали идти по тропинкам. Оставленные сельскохозяйственные машины возникали на их пути. Иногда ветер принимал к вспаханной земле, подбрасывал и вертел в воздухе столбы мелкой пыли. Закончилась уборка винограда, и в воздухе стоял запах увядания и плесени. Одинокие деревья внезапно вставали на пути, как существа, лишённые жизни. Тропа изогнулась в сторону прудов и ноги их наткнулись на груды камней. Рами ловко обходил все преграды, не спотыкаясь, но Адас на все глядела слепыми глазами, отключенная от всего вокруг, заблудившаяся в забытой стране, потерянная в глубокой темноте. Тянула ноги и шла за Рами по острому запаху, идущему от его формы, старому запаху, знакомому ей по форме Мойшеле. Запах напоминал ей одинокие ночи в запертом доме, и она бормотала про себя:

«Ушел Мойшеле, пришел Рами».

Он шел впереди, вернее, скользил во мгле почти беззвучно, как хищный зверь, не обращая внимания на ее спотыкающиеся шаги. Она шла за ним, а не рядом, вглядываясь в черное пятно его спины, и всякое теплое чувство к нему улетучивалось из ее сердца. Чего она тянется за ним? Остановилась и взглянула вверх, на небо и огни на холмах. Ветер усилился и

разогнал тучи. На горизонте огни двигались вместе с ветром. Они втягивались в глубь тумана золотистыми цепочками, и в них слышалась Адас отдаленная печальная мелодия. Очарованно смотрела Адас на эти огни и на луну – тонкий серп, окутываемый кольцами облаков, и тонкий хвост света тянулся от его края, и смотрел на нее с высоты неким подобием скрипки, скрипки Элимелеха. Печальный мотив посылает ей Элимелех, парящий в небе и видящий ее с Рами, и пробуждает в ней щемящее чувство тоски по Мойшеле.

Рами услышал, что шаги ее смолкли, обернулся к ней, стоящей на тропе, лицом к небу. Вернулся к ней, обнял ее за плечи, и так стояли они, глядя на луну, и Рами сказал:

«Луна эта похожа на банан».

Когда Рами назвал скрипку Элимелеха бананом, исчезли все нежные и печальные звуки, и Адас опустила голову, вглядываясь в тропу. Рами ощутил внезапный холод, идущий от нее и отдаляющий ее от него. Маленькая, опустившая плечи, стояла она перед ним, сжавшаяся в себе и печальная. Рами выдавил улыбку и сказал:

«Идем!»

Как будто убегая от нахлынувших тяжелых воспоминаний, они ускорили шаги, словно куда-то торопясь. Тяжелые воинские ботинки Рами разбрасывали по сторонам камни и пыль. Теперь они шли рядом, близко, так, что его автомат ударил ее в плечо, и тут же возникла мысль: вместо пса Мойшеле, автомат Рами. Она приказала:

«Убери автомат!»

Он перекинул оружие на другое плечо и сжал ее руку. Хватка удивила ее силой, и она снова остановилась. Так, тигр охотится за жертвой, и вот, хищные клыки пальцев схватили ее. Автомат соскользнул с его плеча, и шершавые ладони обхватили ее лицо, но она вырвалась быстрым движением, и вновь подняла голову к луне-скрипке, которая возобновила нить мелодии. Странное, какое-то даже скандальное чувство возникло в ней: с помощью Элимелеха она как бы изменяет Мойшеле. Ушел муж, пришел любовник. И нет выхода из лабиринтов судьбы. И тут ночь разорвали душераздирающие звуки, и вся долина огласилась ужасным завыванием разгоряченных страстью котов. Адас прикрыла глаза, прошептав: какая бестолковая ночь! Ночь дяди Соломона, Элимелеха и Рами, и только Мойшеле в ней нет. Заткнула пальцами уши, и снова они стояли на тропе друг против друга, отдалившись, каждый в себе самом. Коты не переставали рыдать:

«Так они всегда!»

«Рыдают, когда занимаются любовью».

«Это у них идет вместе?»

«В этом их наслаждение».

«Когда-то ты умел подражать разгоряченному коту».

«Когда-то».

«Сейчас нет?»

«Нет».

«Почему?»

«Стареем, малышка».

И снова они двинулись с места, рука Адас в руке Рами, и он ведет ее, обходя все препятствия. Ветер усилился, облака отдалили мерцающие холмы на горизонте, и в кибуцах фонари закачались под порывами ветра. Над дальним холмом мерцала одинокая звезда, подобная поминальной свече, которую зажег Всевышний в небе – в память обо всех потерянных душах на земле. Адас бежала за Рами, словно торопясь к этой одинокой звезде. Наконец добежали они до прудов, и запах вод, рыб, гниющих растений – ударил им в ноздри. Пришла осень. Рами сорвал кустик морского лука и подал его Адас. Он сказал:

«Хоть бы пришел первый дождь».

«До такой степени сухо?»

«Но закончили войну».

«Придет новая».

«Что с тобой, малышка?»

Ветер раскачивал одинокую лодку, и волны катили на своих спинах темноту ночи. Из пруда выскакивали маленькие головастики, извиваясь в воздухе, как чертенята, и падали опять в глубину. Дум-пальма дрожала в порывах ветра. Стояла она как бы оголенной. Все заросли вокруг нее исчезли. В прошлом они так и не могли спастись от колючек, которые рвали им одежду и оставляли царапины на коже, теперь все кругом было чисто. Чужаки овладели этим пространством, и пальма стала обычным деревом на обычном клочке земли. В кроне ее обосновались летучие мыши, хлопающие в тишине крыльями. Адас вскрикнула:

«Что сотворили с нашей дум-пальмой!»

Она отдалилась от дерева, смотрела него, и угнетенное ее состояние усиливалось. Рами обнял ее за плечи, но она не реагировала. Нерешительными пальцами он гладил ее, но в них не ощущалось никакой страсти. Поцеловал ее в губы, и ощупывал ее лицо без всякого желания, как слепой нащупывает дорогу. Голос Мойшеле звучал в душе Ада: слепой не может помочь слепому. Застыв, она глядела на пальму, словно бы та заставляла ее силой заняться с Рами любовью, только во имя прошлой памяти этих мест. Беспомощно стояла она перед этой памятью переживаний, которые отделились от нее, до того, что обрели самостоятельность, вне ее души. Тело ее замерло в объятиях Рами, и, пытаясь очнуться от столбняка, она тоже обняла его. И тут пальцы ее обнаружили то, что скрывала темнота. Рами отрастил живот, и ребра его покрылись жирком. Что с ним произошло? Рами уже не тот Рами, как и Мойшеле не тот, кем был. Руки ее соскользнули с его тела, и она их скрестила на животе, как будто ей очень холодно. Рами тоже разжал объятия и пытался потащить ее к дум-пальме. Она заупрямилась и не сходила с места. Каждое сильное прикосновение напоминало ей водителя-насильника. Рами охватил смех, сконфуженный и прерывающийся. Ночь проходит впустую. Когда он зажег сигарету, увидела Ада его удрученное лицо, и неожиданная жалость к нему прошла волной по ее телу. Всей душой захотела она подарить ему то давнее наслаждение, но знала, что тело ее будет сопротивляться ее желанию. Что можно сделать, если сердце опустошено, и она так смята нападением таксиста и равнодушием Мойшеле? Не осталось у нее выхода кроме как замкнуться в себе – и пусть Рами делает с ее телом, все, что ему захочется. Господи Боже, как она умеет обманывать саму себя, поддаваться иллюзиям! Она очарована звуками Элимелеха, а он для нее это Мойшеле, и тоска ночных темных небес это печаль ее сердца! И, несмотря на это, она займется любовью с Рами из жалости. В печали ее есть наивность, и она, быть может, предпочтительней любой страсти. Она сжала руку Рами и сказала:

«Не здесь».

«А где?»

«В другом месте».

Обогнули пруд медленным шагом, чтобы продлить прогулку насколько можно. Руку об руку шли в полном безмолвии, и сплетенные пальцы были холодны. Исхоженная тропа вела их к домику, где хранился корм для рыб. Инструменты валялись вокруг, и ни одно дерево здесь не росло. Длинная жестяная труба, выходящая из домика, сверкала серебряной краской. Фонарь освещал площадку. Снова она вспомнила Мойшеле, и спросила резким голосом:

«Мойшеле расстался с тобой?»

«Но мы разошлись по-доброму».

«Потому ты явился?»

«Нехорошо, что я это сделал?»

Волна разбилась о берег пруда – надежда разбилась, и желание пропало. Это Мойшеле послал к ней Рами. Совершили сделку, и он продал ее другу ценой обретенной свободы. Теперь ей вообще все равно. Она села на упакованные брикеты у домика и сказала:

«Здесь, пожалуй, можно».

Волны плескались в пруду, жестяная труба скрипела на ветру, вскрикнула со сна птица, и коты не переставали рыдать. Автомат Рами ударился о землю, когда он сбросил гимнастерку. Он расстелил ее на земле, и Адаc легла на нее. Лицо ее пылало, глаза были закрыты. Рами лег на нее, но она показалась ему чужой и странной. Попытался рукой расстегнуть пуговицы ее рубашки – она иногда любила, когда он ее раздевал. На этот раз она отвела его руку:

«Я сама управлюсь».

Лежала тихо, как частица тьмы этой ночи. Фонарь освещал ее тело, но свет соскальзывал с него и не вносил жизнь в ее красивую фигуру. Летучие мыши проносились над жестяной трубой, мелькая по серебру тенями, и руки Рами стали особенно чувствительными, прикасаясь к ее телу. Ветер бил в стены домика, и ночное безумие разгоряченных течкой котов продолжалось. Адаc слышала каждый звук, но рук Рами не ощущала. В отчаянии Рами попытался разбудить в ее теле желание любви, но она сжалась, и мышцы ее замкнулись. Обида, которую нанес ей Мойшеле, словно иссушила ее тело, и эта сухость отталкивала от нее Рами. Он провел по ее телу влажными губами, но мышцы женщины еще сильнее сжались, и тело не принимало его ласк. Наконец, он откинулся, обмяк и прошептал в отчаянии:

«Адаc».

Голос его пришел издалека, но тон его разбудил в ней чувство, и она всем сердцем пыталась ему помочь. Прижимала к себе, целовала в губы, пыталась расслабиться, но как только он снова к ней приник, сжалась и замкнулась. Снова она начала его гладить, но руки ее ощутили, что он совсем ослабел, и она в испуге отдернула их. Все это произошло с невероятной быстротой, но она знала, что эти мгновения останутся в ее душе навсегда.

Рами опрокинулся на спину рядом с ней, она села и обняла руками свои ноги, положив на колени голову. Хотела поправить одежду, но руки ей не повиновались. Тело ее дрожало от напряжения и холода. Она ощущала себя глубоко несчастной, но глаза оставались сухими, как и все тело – сухое и бесплодное. Она стыдилась смотреть в сторону Рами, лежавшего ничком рядом с ней и глядящего в небо. И тут на нее напал кашель. Рами спросил:

«Ты больна?»

«Ничего серьезного».

«Нет?»

«Нет!»

Они говорили громко. Она собрала одежду, Рами опустил глаза, застегивая пуговицы на штанах, и как бы мельком сказал:

«У тебя Мойшеле и я как один человек».

Она не ответила и не посмотрела на него. Нет, шептало ей сердце, Мойшеле и Рами – не один человек, а двое. Третий – Элимелех., ибо все хорошие вещи делятся на три: Элимелех, Соломон и Мойшеле – в одном образе. Отсюда вся бестолковость этой несчастной ночи с Рами. Мойшеле, мягкий мой муж, пришел ко мне твердым, как металл. Мойшеле мужчина настоящий, и в то же время он – Рами. Я желала его, но он меня не хотел. Ушел мой муж, пришел любовник. Рами напал на меня, как ястреб, и пытался клювом своим вырвать из меня чувство. Но клюв его сломался, мужское достоинство ослабело, и он уже не может мной овладеть. Мужа я желала, а с любовником не получилось. Я влюбилась опять в мужа, потому что он пришел ко мне, как Рами в прошлом, сильный и дерзкий. Замкнула я себя перед любовником, потому что пришел ко мне, как Мойшеле в прошлом, расслабленный и мягкий. Рами уже не тот Рами, как и Мойшеле не тот Мойшеле. И я тоже уже не Адаc одного мужа и одного любовника. Теперь я Адаc многих – Соломона и Элимелеха, Рами и Мойшеле и даже насильника-водителя. Кто принес мне все это смятение? Элимелех, и дядя Соломон, и печальная четвертинка луны. Мойшеле послал ко мне Рами, как исполняющего его обязанности, а Элимелех послал мне мелодию, чтобы ввести меня в соблазн, и принять Рами вместо моего мужа.

Голос Рами прервал ее раздумья. Подняла глаза, увидела его. Рами стоял, прислонившись к домику, и зажигал сигарету. Руки его дрожали. Он не взял сигарету в рот, а крутил ею широкими кругами:

«Отступил герой войн Израиля и покинул страну».

«Чего вдруг?»

«Сбежал от такой малышки, как ты».

«Всего-то поехал немного развлечься».

«Полагается ему. Мы ведь войну закончили».

«А что с тобой?»

«И я оставлю армию».

«И что будешь делать?»

«Вернусь домой».

«Когда?»

«Давай не будем говорить о том, когда...»

«Сядь рядом».

«Вернемся домой».

«Дай покурить».

Дал ей докурить, посидели еще немного и вернулись в кибуц. Шли медленно, Рами первый, она за ним. И не было никакой близости между ними. Иногда они смотрели на небо, но ни луны, ни звезд не было видно. Все небо было огромным серым облаком, тяжестью своей сужающим полоску зари и касающимся на горизонте земли. Двор кибуца был пуст, несколько стульев, оставшихся на лужайке, где вечером показывали фильм, покачивались на ветру. Окна домов были темными, лишь в разных местах светилось то одно, то другое. Часы рассвета были уделом одиночек, блуждающих между ночью и днем. Рами подошел к машине, стоящей у столлярной мастерской, и сказал:

«Принес тебе подарок»

«Оттуда?»

«Из пустыни».

Рами открыл багажник, обнял Адаш за плечи, пригнул, и глаза ее утонули в груди сухих колючек. Руки его были руками прошлого Рами, и дрожь прошла по ее телу. Наконец-то, она ощутила ожидаемое биение сердца. Смотрела она на колючки, а видела ирисы, которые цвели на горе. Это была весна в разгар тяжелой войны, и раненый Рами петлял по тропе в гору, поднялся на вершину, и хромающая его нога сшибала камни вниз по склону. Она следила за ним, скользким, подобно змею, между скал, рысущим в любой пещере и расселине в поисках редкого горного цветка – ириса пурпурного цвета. Сорвал Рами этот цветок, который запрещено срывать, стоял на вершине скалы, и цветок пылал в его руке, и она кричала, что он воришка.

Он скользнул вниз по склону, пришел к ней и воткнул цветок ей в волосы. Часы на горе прошли под сенью скалы, которая давала им тень, и цветок был забыт в пылу любви, упал на землю и был расплюснут их телами. Так и весна того года осталась единственной в своем роде среди их весен. Долгая война закончилась. Мойшеле уехал, и Рами уедет, и Адаш не двигалась с места, опустив глаза на грудку сухих колючек в багажнике воинской машины. Колючки вместо ирисов. Но сердце ее расчувствовалось, как тогда: быть может, все же они не расстанутся. Мойшеле-то ушел, но, может, Рами останется. И она стояла, замерев в его объятиях, пока он не сказал отчужденным голосом:

«Для тебя».

«Колючки?»

«Ты уже не собираешь колючки?»

«Я помню ирисы».



«Те самые?»

«И ты тоже их помнишь?»

«Ты помнишь не то, что надо, и не в тот час».

Отодвинул ее от себя и резко захлопнул крышку багажника. Извлек из кармана связку ключей и позвенел ими. Звон расставания?! Внезапно ее объял страх одиноких ночей, ожидающих ее в будущем, и она бросилась ему на шею. Он обнял ее, и ключи позванивали за ее спиной.

«Не уезжай!» – сказала она, испытывая удушье от страха.

«Мы изменились, малышка».

«Давай, не будем говорить об этом».

«Почему это нам не говорить об этом».

«Потому что нечего об этом говорить».

«Надо признаться, что ничего у нас вместе не получается».

«Один раз, и ты уже...»

«Давай, не будем об этом».

Рами исчез в ночи, как и возник из нее. Адас, замерев, стояла у ворот, пока не затих шум удаляющегося мотора, и шоссе снова опустело. В курятнике куры беспрерывно кудахтали. Адас добежала до дома и рухнула в кресло Элимелеха. Утренний ветер шумел и в комнате. Фонарь за окном швырял смутные пятна на стены. Двор кибуца пробуждался к новому дню, и голодная скотина мычала и блеяла.

Адас поглядела на себя в зеркало, на измотанное свое лицо, красные от бессонницы глаза, потухшие от невероятной усталости. Стояла перед собственным отражением и бормотала: Мойшеле и Рами виноваты во всем. Оба они ввели меня в тайны любви с уродливой ее стороны. Когда я уже раскрылась мужу, я надоела ему, и он послал мне любовника. И тело мое замкнулось от обиды. Мойшеле пришел ко мне с приبلудным псом, а Рами – с сухими колючками, лишней раз напомнить о моем сухом теле и высохшей душе. Чего вдруг колючки? Наивной девушкой я видела в колючках особую красоту, но дни эти прошли, Господи, Боже мой, как далеки эти дни!

Испугалась Адас этих мыслей, вернулась из душевой и упала на постель.

Зазвенел будильник. Она пошла на работу в кухню, и весь день тело ее было тяжелым, как свинец.

Прошла осень, завершившая Войну на истощение, пришла зима мира и тоже промелькнула. Пришла весна 1971-го года, что была удивительно похожа на прошедшую осень, ибо сошла на страну тяжким суховеем. В сезонные одежды облачились тени прошлого, преследующие Адас. Мойшеле и Рами сбежали из ее жизни. Только все их переживания, изложенные в письмах Соломону, валяются заброшенной грудой на его письменном столе, покрываясь пылью. Рами с той встречи она больше не видела, а Мойшеле все еще за границей и возникает лишь редкой цветной открыткой. Жизнь ее все более запутывалась, показывая ей, насколько она одинока.

Она все смотрела на письмо Мойшеле Соломону, украденное с почтовой полки дяди. Сколько она будет сидеть в кресле Элимелеха с невскрытым конвертом в руке? Смотрит она на адрес Соломона, аккуратно написанный педантичной рукой Мойшеле, и взгляд ее витает в пространстве. Что ей делать с этим письмом? Вернуть дяде Соломону или не вернуть? Конечно же, она вернет. Все время, пока она держит письмо в руках, ее будет преследовать прошлое. Всклакивает Адас с кресла и торопится к дяде.

## Глава пятая

Адас идет по аллее мандариновых деревьев и уже издалека видит дядю Соломона. Он стоит у окна своего дома и смотрит на шумную лужайку. Между нею и дядей лужайка занята Шлойме Гринблатом и его компанией. Ханче, слепая его жена, прижимает к себе внука Боаза, сына рыжей Лиоры. Зять Шлойме Рахамим сидит с тестем рядом и слушает его. А вот и Лиора выходит из дома родителей с подносом, уставленным чашками кофе, печеньем и пирогами, и угощает всех. До чего Лиора изменилась, просто не поверишь! Узкие джинсы с трудом сходятся на ее животе. Когда-то они с Адас были подругами. Адас прячется в тени мандаринового дерева. Не может она пройти через шумную компанию Шлойме Гринблата – Лиора и Рахаим закрывают ей дорогу к дяде. Садится Адас на камень, и через ветви дерева разглядывает Лиору и Рахамима.

В десятом классе были они с Лиорой битниками в рваных одеждах, первые «джинсовые королевы» в кибуце. Это было в доброе время Голды, имя которой навсегда запало Адас в душу. Голда была круглой, морщинистой, седовласой. Носила очки. Янтарное ожерелье из пластика было единственным ее украшением. Она была старожилом кибуца, и это воспринималось как родословная, которой следует гордиться. Господь благословил ее верным мужем, сыном-десантником и дочкой, подарившей ей семь здоровых и симпатичных внуков. При всем при этом Голда не была похожа на женщин кибуца, таких же старожилы, как она, отличаясь чем-то, что трудно было определить. Голда была их любимой воспитательницей и советчицей, всегда рядом, готовой помочь двадцать четыре часа в сутки. Все, кто имел с ней дело, мог этим «голдиться». Даже такие жесткие парни, как Рами, временами «голдились» у нее. Слово это означало – делать нечто запретное, как, например, аборт у частного врача, чтобы ни одна живая душа об этом не знала, даже мать, или получать совет, как не забеременеть, и при этом не слышать внушений о половом воздержании от всех остальных воспитательниц. Они приходили к ней даже мыть голову смесью желтка, лимона и масла. Волосы становились мягкими и шелковистыми. Во время болезни отлеживались в постели и лакомились кулинарными изделиями Голды. Играл патефон, друзья собирались вокруг постели больной, и Голда угощала всех кофе и печеньем. Она, толстуха, умела сделать так, что ее вообще не было видно. И когда, кружась между ними, слышала то, что не для ее ушей, она как бы и не слышала. В любой час и в любом месте приходили к ней открыть душу. А некоторые сажали ее на скамейку в душевой, и читали ей сочинение по марксизму, о котором она мало чего знала. Или объясняли упражнение по английскому языку, которого она не знала совсем. Голда никогда ни во что не вмешивалась, только слушала, – и это именно было то, что требовали от нее – слушать и не вмешиваться. Больше всех «голдилась» у нее Адас со своими проблемами, связанными с Мойшеле и Рами. Тогда она еще была маленькой десятиклассницей, и отношения ее с Мойшеле и Рами все более запутывались. Добиваясь благосклонности Адас, они не брали ее к горящим пальмам, где крутились все летнее время. Она просила их взять ее с собой, они отказывали ей, отговариваясь разными причинами: ты еще мала, ты городская и вообще не понятно, кто. В одну из ночей они сдались ее просьбе, и Рами сказал: «Пусть придет и посмотрит».

Но что вспомнить? Чтоб снова стало дурно? Невозможно стереть из памяти остекленевшие глаза мертвой овцы. Пальмы горели в роще, воды источника вырывались из расселины горы и бежали по узкому руслу между деревьями в долину. Источник еще не испытывал летнего пекла, и воды изливались в избытке. Пальмы пылали, огонь и вода соединились, чтобы высветить и выпятить мертвую овцу, которая упала со скалы, копыта ее застряли в расщелине, и она не могла выбраться. Кристальные воды источника заливали тело, и овца казалась плывущей в струях, а пальмы протягивает ей горящие ветви. Источник сохранял ее, и птицы, падкие

на пададь, ее не касались. И так она сохранялась в целости и смотрела с высоты остекленевшими глазами. Адас одолела тошнота, Мойшеле и Рами над ней смеялись. Мойшеле пытался сбить овцу, но у него это не получалось. Рами взял камень, смерил на взгляд расстояние, сощурил глаз, швырнул, и попал. Овца зашаталась. Адас охватил испуг, она закрыла глаза, скривила лицо. Мойшеле разболтался, вспоминая рассказы Элимелеха, своего отца, о том, что источник этот когда-то был священным для бедуинов, а сейчас народ Израиля пьет его воды, протухшие пададь. Мойшеле и Рами просто хохотали, и дикий этот хохот возвращался эхом от самого багровеющего горизонта и от пылающих пальм. А ей казалось, что хохот исходит из пасти мертвой овцы. Омерзение охватило ее, и со странной остротой она почувствовала, что кто-то, желающей ей зла, привел сюда с Мойшеле и Рами, к этой падали, застрявшей в расщелине скалы. Она закричала ребятам, что не хочет больше их видеть. Они же снова смеялись. Рами сказал, что знал наперед: она не выдержит. Мойшеле сказал, что она еще девочка, нуждающаяся в Голде. И она побежала от них по тропе, спасаясь от горящих пальм, овцы, застрявшей в скале, и хохота ребят.

Всю ночь она не сомкнула глаз. Утром Рами и Мойшеле вернулись в армию, а она пошла к Голде и нашла ее моющей унитаз в туалете. Она хотела тут же рассказать о мучительной ночи, но в этот момент Голда спустила воду, канализационная труба завывала. Адас опустилась на вычищенный Голдой и сохнувший мусорный бачок, и неудержимый смех, почти до плача, охватил ее. Слезы текли из глаз, и Голда заразилась от нее смехом, и теперь они обе хохотали, как глупые десятилетние девчонки. От этого дикого хохота оторвалась пуговица от лифчика Голды и упала ей в трусы. Она начала извиваться и дергать задом, но это не помогало, пока Голда не подняла платье и не извлекла пуговицу. Адас увидела жирные ляжки Голды и испытала потрясение. Но Голда уже набросилась с остервенением на раковину в припадке чистоплотности. Из разорванного лифчика вывалились тяжелые, большие груди, раскачивались вместе с янтарным ожерельем. Глядя на все это, Адас впервые подумала о том, кто она, Голда, как женщина, какова она в любви, ненависти, ревности. Никогда и никто не спрашивал Голду о личной ее жизни, и она ничего не рассказывала им о себе. Открыла кран, измазала руки собравшейся в раковине грязью, и тут же закрыла воду. Адас не успокоилась:

«Как это было когда-то?»

«Как сейчас».

«У тебя был любовник?»

«У каждого в человека в жизни есть бурная история».

«Тот, который вызвал в тебе бурю, еще живет в кибуце?»

«Спроси своего дядю».

«Соломона?»

«Да, Соломона».

«А что знает Соломон?»

«Знает».

«Он мне не расскажет».

«Конечно же, нет».

«Так расскажи ты».

Голда не ответила ей, а вернулась к раковине, и снова начала ее тереть, как будто прилипла к ней навечно. Неожиданно повернулась к Адас и посмотрела на нее, кипя от гнева. Чем она оскорбила Голду, так никогда и не узнает. Тому, что она знает, никто не поверит, но то, что она видела – видела. Голда сняла очки и беспомощным жестом положила их на мраморную стойку, под зеркалом, и Адас впервые увидела ее карие печальные глаза, но такие сверлящие и требовательные. Солнце пролилось на Голду и вымытый ею кран, который засверкал под ее руками. Голда выпрямилась, линии ее тела и полные груди обозначились четче, опускаясь и поднимаясь в ритме быстрого дыхания. Губы раздвинулись, странно изменив выражение лица.

Глаза бегали по зеркалу, пересеченному трещиной, словно отыскиали в нем давнее большое переживание, которое исчезло в складках прошедшего времени, а теперь, вот, вернулось, и смотрит на нее. По удрученному выражению лица было видно, что она снова переживает боль тех дней. Увидев это, она оставила кран, подняла руками груди, словно бы подавая их своему отражению, пересеченному трещиной, и тому, кого видела только она, усиленно мигая – ему ли, или от большого напряжения. Странной и пугающей виделась она Адаас. Мусорный бачок заскрежетал под Адаас, и Голда очнулась. Руки ее мгновенно опустились, груди упали на край раковины, она надела очки, и несколько мгновений поднятые ею к лицу руки дрожали. После чего она стала опять Голдой и сказала обычным своим голосом:

«Теперь катись отсюда».

О том, кто такая Голда, Адаас рассказала Лиора. Она умеет вынюхивать все, а многие вещи ей сообщает любимый ею отец Шлойме Гринблат. Всего через день после посещения Голды, пришла к Адаас Лиора со своими сплетнями. Кто-то украл с веревок прачечной выстиранную одежду, и была выбрана следственная комиссия под управлением Шлойме. Вор был пойман и оказался воровкой – Голдой. Она сама еще не знает о том, что поймана, а кибуц молчит, ибо Голда психопатка, а психам в кибуце разрешается все, даже воспитывать молодежь. Адаас сразу же поняла, что Лиора говорит правду, ведь она сама видела странности Голды. Но то, что Голда ворует, она представить не могла. И сплетне Лиоры не поверила. Дело чуть не дошло до драки. Наконец помирились и решили устроить засаду. Каждую ночь в течение недели они вели слежку за прачечной, пока не увидели Голду, крадущую розовые трусики.

Это было в канун субботы, во время обычной общей встречи членов кибуца. Лиора и Адаас спрятались в зарослях, став легкой добычей комаров.

Где-то, вдалеке, ухал филин, бледно светил с неба месяц, тени какой-то рухляди вокруг виделись как черные обломки скал, и белые простыни на веревках казались привидениями. Видение мертвой овцы вновь возникло перед глазами Адаас, и белизна простыней, развевающихся на ветру, казалась ей белизной вод, льющихся на падаль. Коты вспыхивали фосфорическим сиянием своих полузакрытых глаз, и летучие мыши шарахались над их головами. Сипуха камнем упала с высоты на летучую мышь и проглотила ее. Старая прачечная серебрилась в темноте своими баками – разваливающееся строение первых лет кибуца, которое выглядело ночью как некий дворец из хлама. У входа его тикал электрический счетчик.

Груда серебристых баков парила над горой.

Адаас, почему-то вспомнила праздник, по поводу окончания школы классом Рами и Мойшеле. Перед их уходом в армию. Светили прожектора, горели костры, пылали факелы, и вся гора сияла в праздничном спектакле. Саул и Давид, великие цари, стояли на арочной сцене на вершине горы. Драматург, режиссер, композитор и декоратор – Мойшеле. Он же – царь Саул. Рами же – царь Давид. Мойшеле юн лицом и худ телом, царь-юноша. Рами уже мужчина, крупный, скорее Голиаф в облике Давида. Рами не умеет петь, а лишь подражать разгоряченному козлу, и не рыж, лишь глаза красные – от пыли. И все же красив и выглядит, как царь Давид. А, в общем, все равно они обернули себя простынями на манер бедуинов. Мойшеле-царь уже расстался с жизнью, с большим талантом, в простыне красного цвета, упал на меч, и Рами-царь взошел в белой простыне на гору и оплакал погибшего царя над головами веселых зрителей. Факелы колыхались на ветру. И Рами-царь омывал слушателей плачевной песней Давида: «Горы Гильбоа! Да не сойдет ни роса, ни дождь на вас...», в то время, как оросительные установки веерами обрызгивали по обочинам лужайку, заставленную столами, которые ломались от блюд, закусок, пирогов, и псы лаяли в предвкушении мясных подачек. Зрители терпеливо дожидались окончания спектакля. Рами-царь продолжал печальную речь, и она катилась со скалы, которая служила ему сценой. Адаас веселилась, и шумела вместе со всеми, и вдруг исчезла. А царь на трибуне гремел:

«Скорблю о тебе, брат мой Ионатан! Ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской».

Хотя он обращался к Ионатану, но ясно было, что Рами-царь имеет в виду Мойшеле-царя, который уже возник перед Адаc. Она знала, что он явится к ней немедленно после того, как бросился на меч, поспешила удалиться от Соломона и Амалии, и спряталась среди членов семьи Голды. Мойшеле, конечно же, нашел ее и положил руку ей на плечо. Она же чувствовала, что словно бы завернулась в белую простыню Рами-царя, ибо желала именно его в тот момент, когда ее обнимал Мойшеле.

Шорох осторожных шагов прервал воспоминания Адаc, такими должны были быть движения черепахи, если бы их можно было услышать. Голда двигалась на ощупь и рука ее, так неожиданно ворвавшаяся в видения Адаc, дрожа, опустилась на пару тонких розовых трусиков. Зачем нужны были старой Голде трусики молодой девушки? Даже на одну ногу она бы не смогла их натянуть. Адаc в зарослях побледнела, задрожала, закричала:

«Нет!»

Крик прозвучал, как случайно вылетевшая из ствола пуля. Ноги убегающей Голды шаркали, как лапы спасающихся от погони мышей. Лиора толкнула ее локтем, злясь на то, что своим криком Адаc обнаружила их присутствие. И все же была удовлетворена, ибо доказала Адаc, что именно Голда воровка. И тут Адаc обрушилась на Лиору:

«Заткнись! Довела ты меня своей справедливостью!»

Кричала, держась за прогнившую деревянную бочку, за которой пряталась. Лиора обиделась и оставила ее. Адаc опустила голову и пошла домой. В пятне света от фонаря увидела розовые трусики, брошенные испуганной Голдой. Подняла. Они жгли ей руку. Вернулась к прачечной и повесила их на веревку, стояла перед ними и думала: вторая у меня ненормальная ночь в эту неделю. Ночь с мертвой овцой и ночь с ворующей Голдой. Ветер развеивал ее волосы, белые простыни били ее наотмашь, ночь облекала ее темнотой. Видение Рами на горе исчезло – царь-Рами пал на меч Голды и расстался с жизнью из-за розовых трусиков.

Голда исчезла из их жизни. Сначала говорили, что она заболела, и так как болезнь затянулась, ее забыли. Постепенно она стерлась из памяти и сердец окружающих, только Лиора и Адаc не забыли ее. Они «годилились» друг перед другом историями с Голдой и делали выводы. Наверно, потому, что Голда не вкусила наслаждений жизни, она крадет себе красивые вещи с веревок прачечной. Лиора решила сделать из своей жизни все то, чего не смогла сделать Голда в своей жизни, и занялась уходом за красотой, освоила стрижку и косметику, как новую профессию в кибуце. Лиора также пробовала изготавливать серьги. Тогда вообще в кибуце не носили серьги. Лиора и Адаc были первыми. Так или иначе, о них шла слава битников.

У Рами и Мойшеле были разные мнения о серьгах, вдетых в мочки ее ушей. Рами потянул их и сказал, что она явно переусердствовала. Мойшеле тоже тянул ее за мочки и говорил, что она симпатична своей неряшливостью, отличающей всех битников. Но именно Рами уловил напряжение в ее душе, «кризис Голды», не только из-за ночи у прачечной, но из-за глаз Голды.

Амалия умела пришивать к потрепанным джинсам красивые, бросающиеся в глаза, лоскутья. Адаc пришла к ней в склад, и увидела ее стоящей перед Голдой. Янтарное ее ожерелье блеснуло в глаза Адаc. Голда стоял у автоматической установки, обрызгивающей одежду перед глажкой, и в облаке брызг ее руки ловко сновали с утюгом. Солнечные очки на ее глазах были новыми и от их стекол колебались тени на лице. Увидев Адаc, Голда замерла, и янтарные бусы ожерелья на ее шее, словно желтые капли воды, застыли на месте. Затем сняла очки, и рука ее дрожала. Щеки ее тряслись, и глаза, уставившиеся в Адаc, как будто вышли из орбит, чтобы ринуться на нее, стоявшую перед Голдой. Глаза ее, как два хищника, своей болью и печалью словно потрошили и душили душу Адаc. Затем Голда снова надела очки, добавив к двум тяжелым ночам Адаc этот пронзительный незабываемый взгляд.

Адас убежала домой, упрятала джинсы в шкаф, и больше на них не глядела. И всякие украшения, сделанные Лиорой, надоели ей. Пути их разошлись. Лиора ушла служить в армию, затем вышла замуж и открыла салон красоты, первый во всем кибуцном движении.

Адас не забыла Голду. Тот пронзивший ее взгляд заставил Адас пойти по ее следам, добровольно согласиться на работу в овчарне. Она пасла овец в горах и в поле, обжигала кожу и волосы на солнце, глаза ее свербили и губы потрескались от хамсина. Таким образом, она пыталась накликать на себя уродство Голды. Красоту свою Адас ощущала как проклятие. На этом «пути Голды» она столкнулась с Мойшеле и Рами, и во всем, что случилось, она видела месть Голды. В таком состоянии встретила она свои восемнадцать лет, и тут явился Мойшеле и надел ей на палец обручальное кольцо своей покойной матери. Конечно, не следует присовокуплять утро, залитое солнцем, к пылающим ночам, но лодка, на которой она потеряла девственность, качалась на волнах, и пруд швырял капли, застывающие на ее лице. В то невыносимо жаркое лет согрела она с Рами.

Сидит Адас на камне, под мандариновым деревом, и пальцы ее поглаживают письмо Мойшеле, украденное из почтового ящика дяди.

Адас смотрит на дядю, стоящего у окна и вглядывающегося в аллею, как будто он увидел племянницу идущую по ней, и теперь ищет ее взглядом. Рахамим тоже не отрывает глаз от аллеи, как будто тоже ожидает ее появления. Глаза Рахамима и рыжие волосы Лиоры – препятствие на дороге к дяде. Отношения ее с Лиорой запутались из-за Рахамима, и она не может пройти мимо них. Лиора поднимет голову, увидит ее и, несомненно, начнет кричать, как в ту злополучную ночь.

Адас переводит взгляд с Лиоры на Рахамима, затем на дядю, стоящего у окна своего дома. Солнце на горизонте, и красный ореол его последних лучей постепенно гаснет. Гора смотрит на Адас не вершиной и не памятной ей дум-пальмой, а лысым склоном. Весенний ветер внезапно поднимает пыль в мандариновой аллее. Ломаются ветви, листья взлетают в воздух, скворцы снижают полет и тревожно кричат. Весь этот шум, похожий на приближающуюся битву, всегда происходит в мандариновой аллее в хамсин. Этакая легкая буря, быстро успокаивающаяся, и вот, вроде ничего и не было. Ветер доносит с лужайки ясный голос Лиоры, беспокоящий Адас. Время между закатом и наступлением сумерек словно бы предназначено для сплетен. Но Адас отрешена от всего кибуца, и шепчет издали дяде:

«Ты прав, дядя Соломон, я должна уйти отсюда, я должна оставить кибуц».

Она разглядывает имя дяди, написанное большими буквами на конверте. Это дядя Соломон прошлых дней, и имя его начертано не на ворованном ею письме, а в ее душе. Тогда, в дни ее детства, сидели они на ящике фирмы «Тнува», на берегу моря в Тель-Авиве, и она спрашивала дядю, что дольше, прошлое или будущее? Дядя отвечал, что для старого человека прошлое очень долгое, а будущее короткое, для молодого же все наоборот. Адас опять смотрит на дядю в окне и продолжает бормотать:

«Это не так, дядя Соломон. Можно быть молодым с долгим прошлым. Есть мгновения и слова, которые протягиваются в вечность. Есть воспоминания, которые набрасываются на будущее хищными руками и душат его, и тогда можно быть молодым с прошлым без будущего. И тогда прошлое, настоящее и будущее сливаются в одной фразе – «все не так, как было когда-то».

Где кончается это «когда-то»? Во время ее беседы с дядей, когда она вернулась из Иерусалима? Или когда ушел Мойшеле и явился Рами? Дядя тогда сказал ей, что она должна уйти из кибуца и строить свою жизнь заново. Куда она пойдет? В тот осенний день, когда она убежала к Мойшеле в Иерусалим и нашла в доме Элимелеха Иону, она решила вернуться в родительский дом, остаться и больше не возвращаться в кибуц. Вошла в дом, и в ноздри ей ударил запах грязного белья, мочи из туалета и подгоревшего мяса. Тут же поняла, что случилось что-

то между родителями. В доме было темно и пугающе тихо, и только из кухни сочился бледный свет. Отец сидел у стола, и люстра бросала на него синие и красные отблески. Пепельница была полна окурков, и на тарелке перед ним лежали куски подгоревшего мяса. Стоял стакан виски и почти пустая бутылка. За спиной отца громоздилась грязная посуда в раковине, и мусорный бак был забит доверху. В кухне стоял запах сгоревшего подсолнечного масла, но на стенах все также цвели сиреневые цветы на шпалерах. На щеках отца цвели красные пятна. Белое платье светилось рядом с серой его майкой. Ветер, дующий в открытые окна, листал газету, лежащую на полу, и в глаза Адам бросился заголовок об объединении Египта и Сирии. Отец посмеивался над колеблющейся на ветру газетой, как ребенок над прыгающей игрушкой. Коснулся губами стакана и смотрел на Адам, как будто видел ее впервые. Виски и подгоревшее мясо, приготовленное матерью, сказали Адам обо всем. Никогда она еще не видела отца таким пьяным, уродливым и отталкивающим. Отчаяние, написанное на его лице, неожиданно вызвало у нее подозрение, что он вложил яд в виски, она подскочила к столу и попыталась забрать стакан, но отец вцепился в него и не отпускал. Лицо его было агрессивным, она испугалась и оставила стакан. Он упал на газету и разбился на заголовке. Отец начал плакать, и она крикнула:

«Где мама?»

Крик этот привел его затуманенное алкоголем сознание в чувство, лицо посерело, в горле послышался клекот удушья, и он вырвал на газету и осколки стакана. Жалость охватила ее, и она налила ему холодную воду, омыла ему лицо и вытерла полотенцем. И все это сделала с мягкостью, любовью, горячим чувством, которые никогда еще не выражала отцу. Наконец, он вздохнул и сказал, что ему плохо. Она погладила его лоб, и медленно он пришел в себя. Смущение и стыд отразились на его лице. Он взял из ее рук полотенце, вытер следы рвоты на майке и с большим удивлением спросил:

«Что ты тут делаешь?»

«Где мама?» «В доме отдыха».

«Это правда, отец?»

Он громко откашлялся, сложил губы, словно собирался свистнуть, и хитро подмигнул. Затем руками поднял к лысине кожу лица, так, что лицо стало гладким от морщин. Это не было шуткой, ибо глаза оставались печальными. Адам мгновенно поняла и крикнула:

«Мама сделала омоложение лица?»

«Ты сказала».

«Удалила морщины?»

«Я ничего не сказал».

«Ну, перестань, отец!»

«Я дал ей слово никому не рассказывать».

«Так ты и не рассказал».

Адам подошла к открытому окну. Не из-за матери ей было необходимо вдохнуть свежий воздух, а из-за кухонных запахов. Отец подошел к ней. Оба стояли у окна, и запах перегара бил ей в ноздри. С прежним отцом, язвительным и резким, она не могла смириться, но теперь почувствовала к нему, старящемуся отцу, близость. Несчастный, стоял он с ней рядом, и ей хотелось положить ему на плечо руку и сказать: давай, отец, присядем и поговорим обо всем, что тебя мучает. Но не сказала. Она хотела спросить его, чем ему мешает операция матери по омоложению, но чувствовала, что нельзя с ним говорить о матери. Зачем увеличивать его страдания? Адам молчала, и ночь, и жаркий ветер опаляли ей глаза. Смотрела на запущенный сад. В детстве этот сад доставлял отцу самое большое удовольствие. Теперь вид сада нагоняет тоску. Отец больше не занимается им, и он превратился в свалку. Отец угадал ее мысли и сказал:

«Он совсем не тот, каким был когда-то».

«И ты к этому равнодушен?»

«Нет у меня уже сил для него»  
«Так возьми садовника».  
«Это самое и мать говорит».  
«Так почему же ты его не берешь?»  
«Пусть она это делает».  
«Ты сердишься на нее из-за операции?»  
«Не только из-за этого».  
«Так что же – это?»  
«Это – вообще, и это – всё».

На отцовской печали унеслась Адаш в ночь Иерусалима. Город сиял множеством огней. Отец и дочь – оба – неслись на несчастливой волне. Видение не оставляло ее: мать ушла своей дорогой, и машет им издали как бы последним благословением за светящимися окнами города. Фонарь у дома был разбит. Сад был пуст и темен. Мать оставила их на острове запустения и забвения. Нет у отца сил ни на сад, ни на мать. Сад пустынен и заброшен, как и их жизни. В прошлом отец мечтал о цветущем саде, и мать над ним посмеивалась, а теперь она стремится к цветущему саду. Такова жизнь. Вместе они вели несчастливую жизнь, и мать, в конце концов, пошла своей дорогой – жить своей жизнью. Она крутится в фешенебельных магазинах города и меряет открытые не по возрасту и сверкающие блесками платья. Мама сияет лицом, омоложенным скальпелем хирурга, и радуется фигуре, вернувшейся благодаря овощной диете. Мама хочет опять быть красоткой Машенькой. И вот, она направляется в переулок Элимелеха. Входит во двор, и пес лает на нее и ластится к ней, и Мойшеле вернулся из-за границы. Он немного постарел и выглядит, как его отец Элимелех. Он выходит навстречу маме Машеньке, и она спрашивает его, вернулся ли он, в конце концов, домой. И Мойшеле-Элимелех отвечает ей: наконец мы вернулись домой. И мама такая «красавица», и старый бедный отец стоит рядом с ней и старается выпрямить спину, но все равно остается сморщенным и невысоким. Всегда он стремился выглядеть выше себя, и всегда оставался маленьким. Теперь отец надувает опавшую грудь, пытается выдавить улыбку на морщинистом старом лице, изучает ее платье и говорит:

«Это красивое платье тебе сшили в кибуце?»

Адаш утвердительно качает головой, и он отвечает ей подмигиваньем, мол, знает, что она говорит неправду, ибо видит нейлоновый мешок и в нем красное с медными отливами платье. Все время мешок висел на ее руке, но она и не ощущала его. Когда отец спросил ее о новом платье, снова вернулось к ней подавленное состояние, и перед глазами возник пол столовой кибуца с раскатившимися по нему яйцами. Сколько часов отделяет утро от вечера? От утра с яйцами, выпавшими из корзины, до вечера с пьяным и несчастным отцом, казалось, прошли годы страданий и несчастливой жизни. И все это с ней случилось из-за Мойшеле.

Отец отогнал ее тяжкое видение короткой фразой: «Пойду играть в карты».

Напротив стояло новое здание, рядом с такими же другими, этажи которых обступали их небольшой домик. На освещенном балконе стоял стол, вокруг которого сидели на стульях мужчины и одна женщина. Она подняла карту, как письмо, чтобы его прочесть. Ощущение было такое, что еще немного, и она взлетит над крышами Иерусалима и помашет всем картой-письмом. Снова загорелись глаза отца, не от виски, ноздри его раздулись, и он не отрывал взгляда от карт. Почему она сразу не увидела компанию на балконе? Потому ли, что видела лишь несчастное лицо отца? Но может, вся его печаль это всего лишь тоска по картам. Все это время, что они стояли у окна, он, вероятно, думал об одном: как отвязаться от дочери и бежать к своим картежникам. Сердце ее жгли любовь и жалость к отцу, а он ей сказал: «Ну, будь здорова».

Отец надел белую рубаху и пошел к товарищам, оставив ей вонь и грязь в квартире. Она не хотела видеть отца на балконе и отошла от окна. Эта встреча с отцом разбередила ее. Все, что она делала, было явным безрассудством. Она сбросила белое платье, нарядилась в



последний крик моды – платье с медными блестками – и ринулась наводить порядок в доме. Она собрала осколки стакана, рвоту отца, газету с неотстающим от взгляда заголовком об объединении Египта и Сирии, естественно, для войны с Израилем. И тут же она испугалась, что она испортила дорогое платье, и бросилась к большому зеркалу в спальне родителей. Внимательно и придирчиво оглядела себя со всех сторон, и убедилась, что на платье нет пятен. Затем сделала себе небольшой праздник, наредила губы помадой матери, обрызгала себя духами, потанцевала перед зеркалом, выпячивая то живот, то зад. В конце танца, посмеялась своему отражению и прошептала ему:

«Утром меня чуть не изнасиловали, вечером чужой мужчина сунул мне деньги в кошелек. Так кто же я, если не красивая проститутка?»

Веселье окончилось, и она увидела грязные простыни родительской постели. Опять овладело ей желание наведения чистоты. Она собрала постельное белье, бросила в стиральную машину, и замерла около нее, трещащей и колеблющейся, как в столбняке. Машина словно бы неслась, как поезд и примчала Адак к роше и источнику, к водителю-насилынику, который, вообще, не мужчина во плоти и крови, а символ всего плохого в мире, фокус всего насильственного, что есть во вселенной. Но и в ней выросла новая сила, и это не сила ее красоты, а сила ее кулаков. Она ударила кулаками по стиральной машине так, что заболели руки, но не заставила насильника отступить. Ночь за ночью он ее посещает в образе колючек на пути, или одинокого дерева на тропе, всегда рядом.

Сидит Адак на камне и смотрит умоляющим взглядом на дядю Соломона, не отходящего от окна. Он далек от нее, а Лиора и Рахамим отдаляют его еще больше. Адак завидует шумной жизни на лужайке, всем эти людям, жизнь которых гладка и проста, и не поджидает их в засаде насильник, и нет у них видений на грани галлюцинаций, и не крадут они письма у старого дяди. Она видит себя шарящей на полке почтовых ящиков, куда раскладывают письма, и слышит голос дяди, который уверяет ее, что ей надо покинуть кибуц. Адак отвечает ему, бормоча мандариновым деревьям аллее:

«Куда я пойду, дядя Соломон? К Ионе, который теперь проживает в доме Элимелеха? К отцу и матери? Мама соревнуется со мной в молодости, отец не отрывается от карт. Некуда мне идти. Я застряла в кибуце, ибо застряла в себе самой, и все не так, как было. Мойшеле не тот, даже если вернется в один из дней. Рами тоже не тот. Рами – юноша моей страсти, потерял силу. Даже ты, дядя Соломон, не тот, кем был. Есть в тебе сейчас что-то чуждое и странное. Только я осталась той же. Именно потому, что все изменились так быстро, я не успела измениться. Потому, быть может, я теперь далека от мужа, и любовника, и любимого дяди, ближайшего моего друга. Что мне делать, дядя Соломон?»

Мандариновая аллея уже полна вечерних теней. У подножья горы зажглись прожекторы защитного забора. Лужайка все еще полна людей, и дядя еще не отошел от окна. Внезапно на нее падает тень, она испуганно поднимает взгляд и видит Юваля, который стоит за ее спиной и смеется. Всего лишь Юваль. Адак успокаивается. Юваль служит в части специального назначения, парень с кудрявым светлым чубом, голубыми глазами, мускулистым телом, ростом в метр восемьдесят и наглым выражением лица. Он моложе Адак на два года. Однажды вечером распахнул дверь в ее дом и сказал, что умирает по ней, что она вошла ему в душу еще в школе, но тогда она была хорошо защищенным укреплением, и он, малыш, поднял руки перед великанами, и не пытался ее захватить. Сейчас изменились топографические условия, и можно атаковать. Адак тогда колебалась между смехом и гневом, и, в конце концов, отделалась короткой фразой: оставь, малыш.

Но малыш ее не оставляет и продолжает неотступно кружиться вокруг нее. Адак отвергает его ухаживания, а он не отстает. Ну и кибуц – за свое: сплетни уже втолкнули Юваля в ее постель, и все жалеют этого наивного дурачка, который потерял невинность с Адак. И вот, он возник в мандариновой аллее. Конечно, следил за ней. Адак сердито смотрит на него, и вдруг

разражается смехом. Сиреневое влажное полотенце лежит на его плече, и волосы гладки после купания. Запах хлора, идущий от него, раздражает ноздри Ада. Сильный поток свежести и молодости идет от него и промывает ее печаль. Как порыв чистого воздуха тянет ее Юваль одним махом в бурлящую жизнь двора. Не держит она в руках ворованное письмо и не идет по маршруту Голды в заросли тяжких видений. Юваль вырывает ее из всего этого, и голос ее становится дружелюбным:

«Что ты хочешь, малыш?»

«Чтобы ты пошла со мной сейчас на пруд».

«Забудь про это».

«Там никого нет».

«Боишься, что будут сплетничать?»

«Ты боишься».

«Да ничего меня уже давно не трогает».

«Так пошли».

Сгибается над ней Юваль, обнимает ее голову, и она не отстраняется. Его руки сильные и в то же время ласковые. Она поддается этим рукам, сжимающим ее щеки. Значит, именно в эти печальные часы выпадает ей возможность пробуждения к жизни, к игре чувств. Ночь уплывает вместе с Ювалем в глубь весны, сотворенной для наслаждений. Спадает с нее тяжесть, и она чувствует себя, как перышко, парящее на ветру, в горячем порыве страсти, идущем от Юваля. Зубы его белые и острые, как зубы тигра, как зубы Рами в прошлом. Губы его мягкие, полные. Загорелая кожа сверкает свежестью, обвеивая ее солнечным жаром. Склоненная голова близка к ее лицу, и от волос его идет возбуждающий запах трав, которые только что скошены. Ада старается продлить связь между ее и его головами, ощущать идущую от него свежесть. Мельком взглянув на лужайку, она видит, что Лиора уже взяла на руки сына Боаза и, еще немного, двинется по аллее, чтобы вернуть ребенка в круглосуточный садик. Ада вскакивает с камня и всеми нервами ощущает силу рывка из теснин тоски на свободу. Просыпается давно таившийся в ней ненасытный телесный голод. Она смотрит на Юваля и говорит: «Пошли!»

## Глава шестая

Соломон стоит у открытого окна. Кажется ему, Адас выходит из мандариновой аллеи и смотрит на него издалека. Может, это привидевшийся ему ее облик на краю лужайки, возникающий и исчезающий в мгновение ока? Или призрак красивой женщины, и опьяняющий аромат вовсе не Адас, а порыв свежего воздуха после хамсина? Нет! Она стояла там, смотрела на него, а потом исчезла. Почему не пришла? Не понимает он ее. С момента, как уехал Мойшеле, она изменилась, перешла границу приличий. Из Иерусалима вернулась абсолютно иной, с несчастным лицом и замороженными глазами, так, что больно ему на нее смотреть. После этого побега она отвергает любую попытку сближения. Невозможно к ней прикоснуться, ни любящим взглядом, ни добрым словом. Каждое такое прикосновение возвращается жестким бумерангом. Соломон смотрит на собственные пальцы, лежащие на подоконнике.

В комнату врывается шум компании на лужайке. Облик Адас, что возникла и исчезла между деревьями аллеи, возвращает Соломона в далекое прошлое, к молодой Машеньке, сидящей у пианино. Темная ее коса – в руках его брата Иосифа. Затем видит Соломон эту косу, обернутую в красный платок, и красивая ее головка склонилась над грудой моркови, а руки ее вырывают сорняки в огороде, а за ней по следу идет Элимелех. Он сторожил в ночную смену, и утром пришел увидеть ее. Бедуины собирались на тропе – смотреть на девушек, работающих в поле. Машенька была самой красивой, и потому взгляды всех были обращены на нее, и Элимелех всегда был рядом, как ее телохранитель. Кто не знает Элимелеха? По всей степи все с ним знакомы. Всю ночь он сторожит поля и сады, и приходит в бедуинские шатры – есть яйца, сваренные вкрутую в золе и горячие лепешки, испеченные в печи. Сказал ему Абд-Эль-Рахман, пастух стада великого шейха Халеда:

«Почему ваши женщины работают в поле?

«Потому что они этого хотят».

«Йа, дорогой, йа, Элимелех, я даю своей пару тумачков, и она не выходит в поле, несчастная моя. Она боится скорпионов и змей. А твоя не боится?

«Не боится».

Жуют они жвачку из фиников, сидят у костра, полулежа на золе, и рассуждают. Дым от горящего хвороста ест им глаза и доносится шум горящих у источника пальм. Абд-Эль-Рамхан добавляет:

«Йа, Элимелех, бери мое поле. Продам тебе почти задаром. Зачем мне мертвая земля? Ты, Элимелех, иудей, ты безумец. Вы ведь даже болота покупаете. Йа, дорогой, бери мое поле для твоей женщины».

«Нет у меня женщины».

«Эта красивая, нет?»

«Она не моя».

«Ну, так в моем поле ты ее купишь».

«Но у нас женщин не покупают»

«Что же с ними делают?»

«Женщина сама выбирает себе мужчину».

«Йа, сумасшедший, не такие уж мы дураки, чтобы тебе верить».

«Я клянусь тебе».

«Йа, Элимелех, как женщина может уважать мужчину, которого сама выбрала?»

Беседа их длится далеко за полночь. Подбрасывают хворост в огонь, и приходит очередь кофе. По склону, засаженному коноплей, к шатру спускается красавица Несифа. Собирает коноплю, чтобы зажечь огонь в своем шатре. Муж ее, Исмет, редко сидит с мужчинами у костра. Он владеет скотом, но занимается, главным образом, плетением циновки и корзин.

На берегах болота он отыскивает нужный ему тростник, но там же подхватил лихорадку. Руки Исмета сноровисты, но тело слабое, а мужская сила истощена лихорадкой. Мужчины у костра перешептываются, что Исет очень редко способен на это дело. Маленькая ростом Несифа красива, но детей у нее еще нет. Каждую ночь она приносит хворост в шатер и зажигает костер, чтобы отогнать комаров от страдающего лихорадкой мужа. Несифа унесла хворост в шатер и снова выходит, на этот раз к источнику за водой. Она проходит мимо мужчин, кувшин у нее на голове, и полные ее груди колышутся со стороны в сторону вместе с танцующей ее походкой. Принесет воду из источника, чтобы сварить сладкий чай мужу.

Глаза Элимелеха не отрываются от красавицы. Страсть разгорается в нем не на шутку. Он похож на разгоряченного жеребца, несущегося за кобылой, и никакая сила не может его остановить. Он встает и оставляет костер, берет свой посох, идет за Несифой, которая исчезла в роще, между горящими пальмами. Соломон идет за ним. Тропа пробивается сквозь заросли слив, уже полных кисловатыми плодами. Они пробуют их, и красноватый сок каплет с подбородка Элимелеха. Запах дыма идет от горящих пальм. Маленькая бедуинка сидит на старом пне, и кувшин стоит у ее ног. Месяц опустился на самый дальний край горы, положив полоску света к ее ногам, и горящие пальмы окутывают ее головку красным нимбом. Элимелех швыряет ей монету, как это делается у бедуинов. Она засмеялась, подняла ее, пробует на зуб, сверкнувший белизной. Глаза Элимелеха затуманились, и он говорит Соломону хриплым голосом:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.